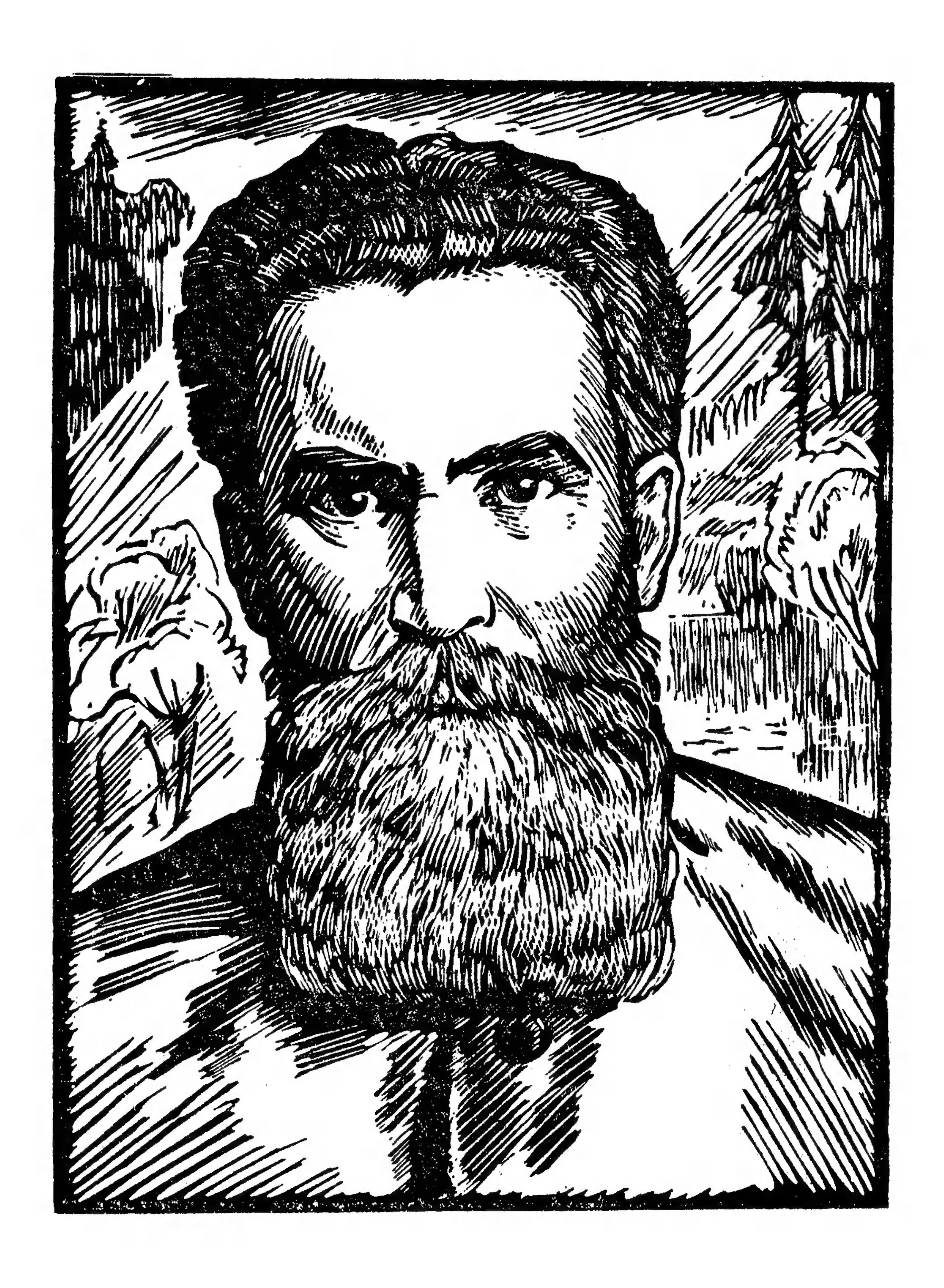


В.Г.КОРОЛЕНКО

СОН МАКАРА

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Вл. Короленко

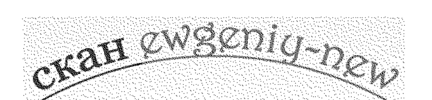
В.Г.КОРОЛЕНКО

СОН МАКАРА

РАССКАЗЫ

Художник **В. И. Якубич**

Москва
«Советская Россия»
1985



Р1
К68

Текст печатается по изданию: Короленко В. Г. Собр. соч. в 5-ти т., т. 1—3. М., Мол. гвардия, 1960—1961.

Составитель,
автор предисловия и примечаний
М. А. Соколова

К $\frac{4803010101—328}{М\text{-}105(03)85}$ 217—85

«ЧЕЛОВЕК СОЗДАН ДЛЯ СЧАСТЬЯ...»

«Жизнь состоит в постоянном стремлении, достижении и новом стремлении... Если при этом люди научатся все больше помогать друг другу в пути, если будет все меньше отсталых, если на пройденных путях будет оставаться все больше маяков, светящих вперед, если формы взаимной борьбы будут становиться все более человечными, а впереди будет все яснее,— то это и значит, что счастья будет все больше. Потому что счастье только в жизни, а жизнь вся – стремление, достижение, новое стремление»[1].

Так писал замечательный русский писатель, публицист и общественный деятель Владимир Галактионович Короленко. И для него это были не слова. Это было то, во что он страстно верил, к чему стремился, за что боролся, чему отдал всю свою жизнь.

Короленко родился 27 июля (15 июля по старому стилю) 1853 года. Детство его прошло на Украине, сначала

---

[1] Короленко В. Г. Собр. соч. в 10-ти т., т. 10. М., 1956, с. 486—487.

в Житомире, а потом в маленьком городке Ровно, где он учился в реальной гимназии, которую и окончил с серебряной медалью. Мальчик жил в трудолюбивой семье, в атмосфере любви, внимания и взаимного уважения. Отец, уездный судья, прямой, бескорыстный и преданный долгу человек, сумел сохранить при своей нелегкой должности поразительную честность и неподкупность. Однако мальчик рано столкнулся с явлениями социального неравенства и несправедливости. Наиболее яркие и глубокие впечатления, как вспоминал впоследствии писатель, оставило у него шоссе, проходившее вблизи дома, по которому прогоняли солдат, каторжников, арестантов, шедших по этапу: «...по длинному прямому шоссе двигалось и в город, и из города много интересного, нового, иногда страшного»[1]. Мальчик жадно впитывал рассказы старой няньки о былых временах, с наслаждением слушал русские и украинские народные мелодии, которые мастерски исполнял кучер, играл с крепостным «купленным» мальчиком. Огромное впечатление производят на него рассказы о «вольной волюшке», воспоминания о крестьянских бунтах, о повстанцах-гайдамаках, о борцах за народное счастье. Большое влияние на формирование личности писателя оказала его мать: добрая и мягкая женщина, она учила сына любить природу, поэтически воспринимать окружающую действительность. Однако очень скоро юноша понял, как призрачна и непрочна радость в этом мире зла и несправедливости. «Я был способен,— гимназия не могла захватить всех сил моего растущего ума...— писал он.— Ощущение, что еще что-то нужно сделать и что я могу что-то сделать хорошее, интересное, захватывающее, нужное,— достигало иногда во мне почти мучительного напряжения»[2]. В гимназии будущий писатель знакомится с произведениями Гоголя, Некрасова, Тургенева, Островского, изучает Белинского, Добролюбова. «Я нашел тогда свою родину, и этой родиной стала прежде всего русская литература»[3].

В 1871 году Короленко уезжает в Петербург, поступает в Технологический институт и сразу же попадает в водоворот студенческой жизни того времени — с ее нуждой, работой ради грошового заработка (он занимался пере-

---

[1] Короленко В. Г. Собр. соч. в 10-ти т., т. 5, с. 31.

[2] Там же, с. 353.

[3] Там же, с. 277.

водами, раскрашивал географические атласы, выполнял чертежные работы), с ее студенческими сходками, где горячо обсуждались философские, литературные и социальные вопросы современности. В 1874 году Короленко переезжает в Москву, поступает в Петровскую земледельческую и лесную академию, где сближается с революционно настроенной молодежью, знакомится с народническим движением 70-х годов, увлекается идеей хождения в народ. Любимым учителем Короленко стал профессор физиологии растений К. А. Тимирязев. В марте 1876 года Короленко был исключен из академии за участие в составлении и подаче коллективного протеста студентов против полицейского режима, царившего в академии, арестован и сослан в Вологодскую губернию, а затем в Кронштадт под надзор полиции. В 1877 году Короленко поступает в Петербургский горный институт, но вскоре как политически неблагонадежный он был вновь арестован.

С 1879 года начинается для будущего писателя время непрерывных арестов и ссылок. Ссылка в Вятскую губернию, в Восточную Сибирь, жизнь в Якутии, куда он был отправлен в 1881 году после отказа принять присягу Александру III. Тюрьмы, арестантские вагоны, камеры для каторжников, ссылки на поселение... Здесь, в сибирских захолустьях, в глухих северных селениях, Короленко жил и работал бок о бок с бедняками российских окраин, сам сеял, пахал, пек хлеб, сапожничал. Он увидел весь ужас нищенского, бесправного существования русского крестьянина, неограниченную власть местного чиновничества и всю бесчеловечность этого жестокого мира, где ценятся лишь власть и деньги. «Многие иллюзии, основанные на кабинетных представлениях о народе, дрогнут и вянут... по выходе из кабинетов в настоящую жизнь»,— писал Короленко[1]. Писатель увидел природную одаренность, талантливость русского мужика. В противоположность реакционным народникам конца 80-х годов, для которых крестьянин был смиренным, тихим, забитым мужичком, Короленко сумел почувствовать огромную потенциальную силу, таящуюся в народе.

В глуши далеких поселений Короленко начинает серьезно заниматься литературной деятельностью. Он пишет о людях труда, не потерявших своего человеческого достоинства, о бедняках, не покорившихся своей судьбе.

---

[1] Волжский вестник, 1886, № 20.

Короленко создает такие рассказы, как «Чудная», «Убивец», «Соколинец», «В дурном обществе», которые смогли появиться в печати только после его возвращения из ссылки. Рассказ «Чудная» Короленко писал в тюремной камере тайком, с трудом добывая бумагу и карандаш. «Как он ухитрился это сделать, живя в «большой» камере с ее вечной сутолокой, среди несмолкаемого гомона,— я совершенно не постигаю,— вспоминал товарищ его по заключению С. П. Швецов.— Сделал это он, сидя на кровати, забравшись на нее с ногами и прижавшись в угол так, чтобы можно было писать на развернутой книге, положенной на согнутые колени... «Чудную» он прочел нам на одном из наших собраний, где присутствовала вся тюрьма, в той же «большой» камере... Впечатление было огромное...»[1] В лице героини рассказа — девушки-революционерки, человека огромной силы воли и непоколебимых убеждений — Короленко воплотил черты народнической молодежи. Однако восхищаясь героизмом Чудной, писатель осудил ее за отчужденность от народа, нетерпимость к простому солдату.

В 1883 году Короленко создает замечательный рассказ «Сон Макара», основная идея которого — близкий конец народного смирения. Писатель сумел понять, что, несмотря на темноту, забитость и вековую покорность мужика, в нем заложена большая стихийная сила протеста. Он показал, как в смиренном, замученном Макаре просыпается чувство собственного достоинства и он бросает в лицо своим судьям горячие и обличающие слова. «Да, его гоняли всю жизнь! Гоняли старосты и старшины, заседатели и исправники, требуя подати; гоняли попы, требуя ругу; гоняли нужда и голод; гоняли морозы и жары, дожди и засухи; гоняла промерзшая земля и злая тайга!» Макар понял одно, «что в сердце его истощилось терпение», «он забыл, где он, пред чьим лицом предстоит,— забыл все, кроме своего гнева...». Заключительная сцена рассказа символизирует кончающееся терпение и назревающий бунт. «Сон Макара», первый опубликованный рассказ писателя после возвращения его из ссылки, был принят читателями с восхищением. «Сон Макара» обратил на себя внимание Чернышевского, высоко оценившего правдивость рассказа.

---

[1] Швецов С. П. В. Г. Короленко в Вышнем Волочке.— В кн.: В. Г. Короленко в воспоминаниях современников. М., 1962, с. 45.

В рассказе «В дурном обществе» Короленко показывает людей «дна», мир отщепенцев, воров, нищих, которым нет места, даже в среде городской бедноты. Так же, как и сибирских бродяг («Убивец», «Соколинец»), писатель наделяет их чертами незаурядных личностей, независимых и полных гордого достоинства. С особой теплотой, любовью описывает Короленко детей, гибнущих в нищете.

А. М. Горький писал, что Короленко «ласковою, но сильной рукой великого художника честно и правдиво нарисовал нам мужика действительно во весь рост»[1]. В рассказе «Река играет» (самом любимом рассказе Горького) писатель рисует образ перевозчика Тюлина, в котором воплощена могучая, хотя пока еще дремлющая сила русского крестьянина. Неповоротливый, ленивый и тихий человек, в минуту опасности он преображается, выходит из состояния сонной апатии и спасает плот и людей. «Правда, сказанная образом Тюлина,— писал Горький,— огромная правда, ибо в этой фигуре нам дан исторически верный тип великорусса — того человека, который ныне сорвался с крепких цепей мертвой старины и получил возможность строить жизнь по своей воле»[2].

Красной нитью через все творчество Короленко, демократа и гуманиста, проходит проблема человеческого счастья. Уже в первом своем художественном произведении «Эпизоды из жизни искателя» (1878) он утверждал мысль о счастье, как об активном отношении к жизни. И если в мире социальной несправедливости самая мысль о том, что «человек создан для счастья», является парадоксом («Парадокс»), то тем яснее становится необходимость борьбы за это счастье. В повести «Сказание о Флоре, Агриппе и Менахеме, сыне Иегуды» (1886) на материале далекого исторического прошлого Короленко провозглашает мысль о необходимости борьбы с социальным злом и угнетением. Рассказ, направленный против толстовского учения непротивления злу насилием, повествует о народе, восставшем против владычества Рима, о мудреце, который призывал народ свергнуть завоевателей. А тем, кто звал к смирению, утверждая, что «силу не побеждают силой, которая есть зло», Короленко устами своего героя отвечает: «Сила руки не зло и не добро, а сила, зло же или добро в ее применении. Сила руки —

---

[1] **Горький А. М.** Собр. соч. в 30-ти т., т. 24. М., 1954, с. 52
[2] Там же, т. 14, с. 245.

зло, когда она поднимается для грабежа и обиды слабейшего; когда же она поднята для труда и защиты ближнего — она добро». Кончается сказание обращением к народу, который должен исполнить свой долг, дабы «на земле был бы мир, и земля не стонала бы под игом».

Проблема счастья человека решается Короленко как проблема служения родине, своему народу. Развивая эту идею, в 1886 году писатель создает большую повесть «Слепой музыкант». Произведение повествует о слепорожденном мальчике, для которого мир навсегда лишен красок и света, жизни и счастья. Герой погружен в вечный мрак и горе. Тонкий психолог, Короленко проникновенно воссоздает этот замкнутый мирок ощущений и звуков, намеков и догадок, в котором живет его герой. Но писатель вводит в этот мир слепого юноши старого вояку-гарибальдийца, который с гневом говорит слепому: «Я хотел, чтобы ты почувствовал чужое горе и перестал носиться со своим...» Он выводит слепого из богатой усадьбы в широкий мир, знакомит юношу с героическим прошлым родины, раскрывает перед ним всю глубину людских страданий. И слепой понял, что его личное горе ничтожно по сравнению со страданиями народа. Повесть кончается описанием концерта, на котором слепой музыкант потрясает сердца людей своим простым и мужественным искусством. М. И. Калинин 25 октября 1919 года говорил об этом произведении в своей речи: «Величайший художник слова Короленко в своем «Слепом музыканте» ясно показал, как проблематично, непрочно это отдельное человеческое счастье... Человек... может быть счастлив только тогда, когда всеми нитями своей души, когда всем телом и всем сердцем спаян он со своим классом, и только тогда его жизнь будет полна и цельна»[1].

Короленко обладал обостренным чувством гражданской ответственности за совершающееся общественное «зло». Дочь писателя вспоминала: «В самый счастливый, молодой, здоровый и спокойный период своей жизни отец остро чувствует чужое страдание и свою вину за него»[2].

Рисуя отдаленные уголки дореволюционной России, «пустынные места», далекие сибирские селения, глушь керженских лесов, Короленко показывает темноту народных масс, неграмотность, подчас дикость и косность

---

[1] Калинин М. И. За эти годы, кн. 3. М.— Л., 1929, с. 188—189.
[2] Короленко С. В. Десять лет в провинции. Ижевск, 1966, с. 157.

(«На затмении», «В пустынных местах», «Смиренные»). Однако писатель всегда при этом подчеркивает, что «русский народ — народ живой и дееспособный». Народу принадлежит будущее, считал Короленко. Под народом он подразумевал всех тех, кто лишен каких бы то ни было прав, но должен завоевать их. «Умирает исконная, старая Русь... Русь древнего благочестия, Русь потемневших ликов, Русь старых неправленых книг, Русь скитов и пустынного жития, Русь старой буквы и старого обряда...» Блестяще написанный очерк с натуры «На затмении» (1887) Короленко кончает стихами забытого поэта:

На святой Руси петухи кричат,
Скоро будет день на святой Руси.

«Всю жизнь, трудным путем героя, он шел встречу дню,— писал Горький,— и неисчислимо все, что сделано В. Г. Короленко для того, чтоб ускорить рассвет этого дня»[1].

Вернувшись в 1885 году из ссылки и поселившись в Нижнем Новгороде, Короленко стал совестью местной общественной жизни. Вокруг него сплотились передовые прогрессивные журналисты и общественные деятели. Он выступает как литературный критик, историк литературы, публицист, корреспондент, редактор. Истинный патриот и гражданин, он старался живым словом публициста участвовать в общественной жизни страны. В годы, когда работа в провинциальной прессе была настоящим подвигом, он стал в ряды деятелей прогрессивной литературы. «Для меня,— писал он о своей деятельности публициста,— это не второстепенный придаток, а половина моей работы и моей литературной личности»[2]. Не было ни одного события, отражавшего полицейский произвол самодержавной России, на которое бы не откликнулся Короленко-публицист. Почти в пятидесяти газетах и журналах появлялись корреспонденции и статьи Короленко — уже это говорит об огромном размахе публицистической деятельности писателя. «Я желал бы, чтобы голос печати звучал как труба на горе, чтобы подхватить ее, передать дальше, разнести всюду до самых дальних углов, заронить в наименее чуткие сердца, самые беспечные души»[3].

---

[1] Горький А. М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 15, с. 51.
[2] Короленко В. Г. Избр. письма в 3-х т., т. 2. М., 1932, с. 7.
[3] Русские ведомости, 1917, № 58.

В Нижнем Новгороде писатель начинает борьбу с «дворянской диктатурой». В 1889 году на страницах газеты «Волжский вестник» Короленко публикует серию статей «Об Александровском банке», в результате чего была проведена ревизия и раскрылись миллионные хищения. В 1892 году Поволжье поразил невиданный голод. Целые деревни вымирали от болезней и нищеты. Видя преступное равнодушие дворян к бедствиям народа, Короленко едет в Лукояновский уезд, помогает голодным, открывает столовые. «Ты не можешь себе представить, какие там люди владели и правили,— пишет он своему другу В. Н. Григорьеву,— эксплуатация — это что, это еще самое мягкое слово. Нет,— систематическая ненависть и презрение к мужику, возведенные в принцип, затем — террор над остальными, недворянскими классами и полная власть в руках»[1]. Страстный и гневный голос Короленко-публициста зазвучал со страниц газет и журналов, призывая прекратить вопиющий произвол, царящий в деревне (статьи и корреспонденции впоследствии были переработаны и объединены в очерки «В голодный год»). В 1893 году серия корреспонденций Короленко посвящена начавшейся в низовьях Волги холере («В холерный год»). В 1894 году Короленко привлек внимание общественности к новому преступлению правительства — Мултанскому делу, в котором ярко выразилась политика натравливания одного народа на другой. Группа крестьян-удмуртов из села Старый Мултан Вятской губернии была провокационно обвинена в убийстве прохожего нищего якобы с целью принесения человеческой жертвы языческим богам. Удмурты были осуждены на каторгу. На втором слушании дела присутствовал в качестве корреспондента Короленко. Потрясенный всем увиденным и услышанным, он писал Н. Ф. Анненскому: «...Здесь, в дальнем углу, приносилось настоящее жертвоприношение невинных людей шайкой полицейских разбойников под предводительством тов<арища> прокурора и с благословения Сарап<ульского> окр<ужного> суда. Следствие совершенно фальсифицировано, над подсудимыми и свидетелями совершались пытки». Короленко едет в Мултан, на месте расследует и изучает события и вскрывает перед лицом общественности всю фальшь этого заведомо подстроенного процесса, все, по словам Горького, «идиотское

---

[1] Короленко В. Г. Собр. соч. в 10-ти т., т. 10, с. 156.

мракобесие самодержавной власти». На третьем судебном разбирательстве писатель сам выступил в качестве защитника. Мултанцы были оправданы. Когда после процесса в поддержку обвинения выступила официальная церковь в лице «ученого» попа Н. Н. Блинова, Короленко снова выступает на страницах печати, на этот раз разоблачая изуверов в рясах, действующих заодно с изуверами в мундирах. «В Нижнем я — корреспондент и горжусь этим званием»[1],— говорил Короленко в 1896 году на прощальном вечере в Нижнем Новгороде, устроенном его друзьями. Недаром Горький назвал период с 1885 по 1895 год в жизни Нижнего Новгорода «временем Короленко».

В 1893 году писатель совершил поездку на Всемирную выставку в Чикаго в качестве корреспондента газеты «Русские ведомости». Первое его впечатление от Америки было связано с бросающимися в глаза социальными противоречиями капиталистического мира. «Мы, русские, к какому бы сословию, классу, направлению ни принадлежали,— въезжаем в первый раз за границу с особенным чувством,— писал Короленко в очерке «В Америку».— Пусть это будет наивное доверие к Западу или, наоборот, кичливое «патриотическое» пренебрежение,— но всегда в первом взгляде нашем на свободную Европу читается один и тот же вопрос: «Ну, что же у вас тут лучше нашего? У вас тут свобода, конституция или республика... что же, нет у вас голода, нищеты и порока?»

Америка встретила писателя картинами жестокой безработицы, нищеты и бесправия, рабства цветных и безраздельного господства доллара. Короленко создает рассказы и очерки, навеянные наблюдениями над буржуазным миром Запада. Самым значительным произведением из них была повесть «Без языка», в которой он описал горестные похождения украинского крестьянина, разочаровавшегося в своих наивных мечтах найти на чужой стороне счастье. Матвей Лозинский оказывается чужим в бездушном буржуазном обществе с его волчьими законами. Доведенный до исступления, Матвей проклинает показную буржуазную свободу. И лишь на митинге безработных, простых людей Америки, герой Короленко находит с ними общий язык.

---

[1] Нижегородский сборник памяти Вл. Гал. Короленко. Н. Новгород, 1923, с. 230.

Писатель протестует против национального гнета. «Гонение всегда гнусно, националистический шовинизм всегда извращает национальный характер»,— писал он в одном из писем[1]. В целом ряде статей, посвященных национальному вопросу («Несколько мыслей о национализме», «О патриотизме» и др.), Короленко разоблачает воинствующий национализм, шовинизм, разжигаемые царским правительством. «Реальное содержание национализма сводится на «отрицание» других национальностей»,— писал он. Разоблачая чванливую гордость своей нацией и презрение к другим народам, Короленко обращается к Америке, где все эти черты уже тогда выросли до грандиозных размеров. В одной из статей он передает разговор с встреченным им на пароходе американцем. С иронией отмечает Короленко его «колокольный патриотизм». «Он глубоко уверен, что Америка — лучшая страна в мире, Иллинойс — лучший штат в Америке, его квартал — лучший квартал в городе, его дом — лучший дом этого квартала...» Чванливому, заносчивому, воинствующему национализму писатель противопоставлял истинный патриотизм, предполагающий борьбу против национального и социального гнета, уважение к другим нациям.

Особенно велико значение призыва Короленко к миру между народами всех стран. Протестуя против колониальной политики царского правительства, писатель выносит суровый приговор и агрессорам капиталистических стран. Он говорит об угнетении негров американцами, ирландцев — англичанами. Потрясенный всем увиденным в «свободной» Америке, писатель заносит в дневник: «Есть особые вагоны для негров... негр должен при встрече обходить американца. Два негра, беседующие на тротуаре, обязаны непременно посторониться оба,— американец оскорбляется, если ему пришлось свернуть. Цветные держатся в терроре. От времени до времени идет крик, что негры зазнались, и при первом пустом проступке — линч и казнь»[2]. На примере индейцев, «когда-то великого племени», от которого осталась жалкая кучка людей, «состоящих на содержании из милости у Соединенных Штатов», Короленко вскрывает типичную картину колониальной политики. Гневные слова писателя,

---

[1] Короленко В. Г. Избр. письма в 3-х т., т. 3, с. 233.

[2] Короленко В. Г. Полн. посмертн. собр. соч. Дневник, т. 2. 1926, с. 120.

написанные 90 лет тому назад, актуальны и сегодня. «Целый народ быстро, как трава от пожара, исчезает с лица земли. А когда порой они тоже вспоминают о воле, о том, что они были когда-то свободными хозяевами страны,— американцы рады. Вместо скудного жалования они расплачиваются картечью, и дело идет еще быстрее»[1].

Призывая народы к братству, Короленко верил, что «любовь к своему отечеству, своему языку и своей родине... будет только живой ветвью на живом стволе общечеловеческой солидарности» («О патриотизме»). Писатель предвидел, что в грядущем именно свободной России «на великом совещании народов» будет принадлежать роль организатора в деле защиты мира. «Нужно быть на страже великого сокровища — мира, которое не сумели сберечь для нас правительства королей и дипломатов»[2].

В 90-е годы писатель, живя в Петербурге, активно участвует в общественной жизни страны, ведет большую работу в редакции журнала «Русское богатство», создает художественные произведения и публицистические очерки, достигая в каждом из этих жанров высокого мастерства. В 1900 году Короленко переезжает в Полтаву, где он прожил последние 20 лет своей жизни.

В годы общественного подъема, в канун революции писатель-гражданин ставит на страницах своих произведений насущные вопросы времени. Рассказы, картинки с натуры, очерки, эскизы, статьи, корреспонденции Короленко проникнуты истинной верой в близкую победу трудового народа. Рассказ «Мгновение», появившийся в печати в 1900 году, наполнен героикой освободительной борьбы и предчувствием близкой бури. Глубокой ночью, в бурю бежит из тюрьмы узник. Бежит на верную гибель, но гибель — на свободе. Ставшие знаменитыми слова: «Кто знает, не стоит ли один миг настоящей жизни целых годов прозябанья!» — перекликается с известным афоризмом Горького: «Безумству храбрых поем мы песню!» («Песня о Соколе», 1899). Любимым произведением передовых русских читателей предреволюционных лет стала миниатюра Короленко «Огоньки» (1900). Она ходила по рукам в списках, исполнялась на литератур-

---

[1] Письмо к жене от 24 августа 1893 г.— В кн.: Короленко В. Г. Неизданные произведения, т. 18. 1923, с. 83.

[2] Русские ведомости, 1917, № 58.

ных вечерах, студенческих собраниях, рабочих сходках. Заключительные строки: «...Жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла... Но все-таки... все-таки впереди — огни!» — воспринимались как прямой призыв к борьбе с реакцией и выражали убежденность в светлом будущем.

«Среди русских культурных людей,— писал Горький,— я не встречал человека с такой неутомимой жаждою «правды-справедливости», человека, который так проникновенно чувствовал бы необходимость воплощения этой правды в жизнь»[1]. В 1902 году Короленко вместе с Чеховым отказывается от почетного звания академика в знак протеста против отмены выборов в академики А. М. Горького. Отдавши все свои силы, чувства, желания и талант защите интересов народа, писатель одной из главных тем своих произведений сделал прославление активного отношения к жизни. Он разоблачает равнодушие, мещанское смирение и благодушие там, где процветает произвол и жестокость. Короленко видел, что новые силы, идущие из глубины народных масс, сметут деспотию существующего порядка. «Законного порядка не будет, пока фактически будет существовать самодержавие»,— писал он в одной из неопубликованных статей («О современном положении»). Писатель убедился в утопичности надежд на реформы и пришел к мысли о неизбежности революции. В 1905 году он обратился от имени народных масс к высшим властям: «Вы можете не слушать нашего голоса, гнать и арестовывать... вы можете задержать и уничтожить что угодно, но создать ничего не можете без нас, без вольного труда всего народа»[2].

После поражения революции, в годы жесточайшей столыпинской реакции, правительственных репрессий и полицейского произвола Короленко не впал в пессимизм. Он твердо верил в неизбежность нового подъема революционного движения в стране. Он возражал тем, кто говорил о гибели революции: «Революции имеют свои подъемы и падения... отдельная волна пала, прилив продолжается...» («Роковой путь»). С редким мужеством и последовательностью Короленко продолжает бороться с полицейским произволом и «оргией казней», ставшими «бытовым

---

[1] Горький А. М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 15, с. 50.
[2] Газ. «Полтавщина», 1905, № 270.

явлением». Пламенный пафос негодования, которым дышали его произведения, направленные против смертных казней и виселиц, пыток и истязаний, непосредственно служил делу рабочего движения. В очерке «В успокоенной деревне» он раскрывает картины расправы с крестьянами в деревнях, в статье «Истязательская оргия» — насилие над людьми в полицейских застенках, в произведении «Сорочинская трагедия» рисует картины кровавой расправы, учиненной правительственным карательным отрядом в местечке Сорочинцы. В 1910 году он пишет «Бытовое явление» — произведение, ставшее крупным общественным событием в России. Сочетая строгую документальность с глубиной типизации, «Бытовое явление» стало ярким обличением реакционной политики самодержавия, говорило о воле народа, стойкость которого нельзя сломить ни тюрьмами, ни пытками. Потрясенный этим произведением, Лев Николаевич Толстой писал Короленко 27 марта 1910 года: «...всячески во время чтения старался, но не мог удержать не слезы, а рыдания. Не нахожу слов, чтобы выразить всю мою благодарность и любовь за эту и по выражению, и по мысли, и, главное, по чувству превосходную статью. Ее надо перепечатать и распространять в миллионах экземпляров. Никакие думские речи, никакие трактаты, никакие драмы, романы не произведут одной тысячной того благотворного действия, какое должна произвести эта статья»[1]. В 1913 году в Киеве черносотенные организации при поддержке министра юстиции организовали новый «ритуальный» процесс. Был инсценирован суд по обвинению еврея Бейлиса в убийстве с целью жертвоприношения. Больной Короленко едет в Киев, и снова его голос, правдивый и гневный, зазвучал со страниц местных и столичных газет. Бейлис был оправдан.

В период подготовки пролетарской революции В. И. Ленин учил русских коммунистов «...никогда не забывать в своей деятельности громадной важности *демократизма*»[2], ибо в пореформенной России еще были сильны остатки крепостничества. В 1907 году В. И. Ленин назвал Короленко «прогрессивным писателем»[3]. Столь

---

[1] Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. М., 1962, с. 672.
[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 300.
[3] Там же, т. 15, с. 132.

высокую оценку вождя пролетариата писатель заслужил своей многолетней борьбой с самодержавием и защитой интересов трудящихся.

Завершением творческого пути Короленко явились его художественные мемуары «История моего современника», над четырьмя томами которой он работал более 15 лет. На примере жизни человека его поколения писатель стремился показать историю общественного развития России на протяжении нескольких десятилетий. Короленко знакомит читателя с важнейшими событиями того времени, с типичными представителями разных слоев общества, дает художественные зарисовки отдельных эпизодов, сцен, картин с натуры, воссоздавая тем самым сложнейшую эпоху во всем ее многообразии и противоречивости.

Короленко принадлежал к тем удивительным русским художникам слова, которые в сложные переходные эпохи сумели сохранить глубину и трезвость мысли, сумели угадать зарождение новых сил, которым принадлежит будущее. Стремясь показать появление нового в психологии человека, новых идей и настроений, порожденных сдвигами в конкретно-исторической обстановке, Короленко создает произведения, в которых налицо лирико-романтическое воплощение идеала. Его герои исключительны. Это бунтари, одинокие узники и смелые борцы за свободу. Однако они типичны в своей «возможной реальности». Им принадлежит будущее. Ратуя за правдивое, реалистическое искусство, Короленко считал, однако, что время требует не только одного реалистического показа отрицательных сторон жизни. Он сумел предугадать необходимость героического начала в литературе, которое вытекало из ощущения надвигающихся революционных событий. Короленко был первым русским писателем, который теоретически обосновал историческую закономерность появления в 80-х годах «нового» реализма, и кто на практике осуществил эти поиски, создав блестящие произведения, ставшие знамением времени.

В своих литературно-критических статьях теоретического характера, воспоминаниях о Чернышевском, Успенском, Чехове, рецензиях и отзывах о творчестве Гончарова, Щедрина, Толстого, высказываниях, оставшихся в дневниках и письмах, Короленко разоблачал теорию «чистого искусства» и защищал высокоидейное,

политически острое, реалистическое, активное искусство. «Литература, кроме «отрицания»,— еще разлагает старое, из его обломков созидает новое, отрицает и призывает»[1]. Отрицать необходимо во имя идеала, но идеала не вымышленного, а предугаданного в жизни. Он утверждал своими рассказами героизм отдельной личности как выражение народного героизма (бунт Макара, подвиг слепого музыканта). Предвосхищая Горького, Короленко считал задачей художника не показ идеального мира, а поиск и показ тех реальных сил, которым принадлежит будущее. Он первый сформулировал специфику новой литературы, которая вырастает из «синтеза романтизма и реализма». Он не только указал на необходимость «нового искусства», не только сам создал произведения, в которых критика существующего была во имя угадываемого будущего, но и первый сумел оценить это новое в творчестве начинающего Горького. «Он был моим учителем недолго, но он был им, и это моя гордость по сей день»,— писал Алексей Максимович[2]. Считая свое творчество подготовительной ступенью к «новому искусству», Короленко сумел обогатить реалистический метод такими свойствами, которые помогли в дальнейшем развитию качественно нового реализма — социалистического. Короленко стоял в стороне от рабочего движения, не понял роли пролетариата и до конца жизни оставался на общедемократических позициях. То, что для Короленко было предчувствием рассвета, позицией «огоньков», верой в общую справедливость, для Горького стало романтикой революционной борьбы пролетариата. Горький принял от Короленко эстафету поисков новой литературы и пошел дальше — к действительно новому искусству — социалистическому реализму.

У Короленко нет произведений, написанных бесстрастным тоном простого наблюдателя. Его рассказы проникнуты страстной взволнованностью, пафосом подлинного человеколюбия. Каким бы художественным или публицистическим жанром ни пользовался писатель — будь то очерк или политическая статья, газетный фельетон или рассказ, легенда или сказка, путевой очерк или повесть,— всегда это было произведение яркое, написанное поэтически, образно, психологически глубоко, подчас

---

[1] Короленко В. Г. Дневник, т. 1, с. 127.
[2] Горький А. М. Собр. соч., в 30-ти т., т. 29, с. 444.

окрашенное своеобразным тонким юмором. Короленко как истинный поэт ощущал едва уловимые переживания, впечатления, чувства, создавая средствами прозаического языка музыкальную гармонию души человеческой. Можно говорить об особой мелодии языка писателя. Поэтическая музыкальность легенды «Лес шумит», повествование которой неторопливо ведется под аккомпанемент шумящего леса, поразила современников писателя. «Язык рассказа звучал певуче, мелодично, лучше многих стихов; подобно музыке, открывал он то, что казалось невозможным выразить словами. Тогда я еще не читал, не слыхал такого красивого языка, полного струнной звучности»,— вспоминал писатель Скиталец[1].

Любовь к русскому народу неразделима у Короленко с любовью к русской природе. Любимым занятием писателя было путешествие пешком, на лодке, пароме, пароходе по Волге, Ветлуге, Керженцу, по проселочным дорогам, лесам и перелескам, полям и тропинкам. В рассказе «Ушел» Короленко писал: «Мчишься в поезде от станции до станции или на пароходе от пристани до пристани, и страна мелькает мимо с головокружительной быстротой, оставляя впечатление грохота, свиста, дыма, в лучшем случае молчаливого пейзажа, красиво освещенного луной... С этой точки зрения страна слишком упрощается и представляется какой-то легкой... Но стоит сойти с поезда или с парохода — и точка зрения сразу меняется: поезд свистнул и умчался и исчез из виду, пока вы прошли несколько десятков сажен; пароход завернул за отдаленную гору на повороте реки, пока вы успели взобраться на глинистый откос по крутой тропинке,— а вы остались и чувствуете, что кругом вас начинается что-то другое... Жжет солнце, слепит пыль, жужжат овода и мухи, томит жажда, каждый шаг стоит усилия, так бесконечны поля, так трудны дороги, так озабочены люди, так далека вся жизнь от быстрого движения поезда... И так тяжела, кажется, эта жизнь бесконечной страны. И столько в ней порой захватывающего и интересного...»[2]

Не случайно большинство сюжетов Короленко навеяно

---

[1] Скиталец С. Г. Повести и рассказы. Воспоминания. М., 1960, с. 371.

[2] Короленко В. Г. Собр. соч. в 10-ти т., т. 3., с. 417—418.

непосредственными наблюдениями над жизнью, иногда взяты прямо с «натуры». Этим обусловливаются и чисто внешние приемы повествования: рассказ ведется от первого лица в виде беседы с читателем о пережитом. Паломничество в Оранки, путешествие по Керженцу, посещение «невидимого града» Китежа на озере Светлояр, многочисленные походы с котомкой за спиной по живописным окрестностям Нижнего Новгорода раскрывали перед писателем все многообразие и красоту русской природы. В письме к жене от 28 июня 1889 года он писал: «Мозоли я натер, устал как собака, но зато какие виды, какая прелестная река!.. С обеих сторон две стены глухого, непроходимого леса, кой-где в чаще стучит топор, кой-где на берегу мелькнет человек, вяжущий плот, или караульщик в шалашике, и такой он, под этими громадными деревьями, кажется маленький. Эти несколько дней я жил совсем в другом мире...»[1] В своих дневниках, письмах, записных книжках, мемуарах, очерках с натуры Короленко в поэтических образах воплотил все величие, богатство и красоту родины. Подлинной поэзией одухотворены у него картины русских пейзажей — спокойно-величавых рек, сказочного по красоте озера, суровой тайги, глухих лесов.

Короленко умер 25 декабря 1921 года в Полтаве.

Отмечая 60-летие со дня рождения писателя, ленинская «Правда» писала 21 июля 1913 года: «Такие люди, как Короленко, редки и ценны. Мы чтим в нем чуткого, будящего художника и писателя-гражданина, писателя-демократа». В день его 65-летия в Петрограде Горький, открывая чествование писателя, произнес при затихшем зале горячее слово любви и уважения к Короленко, которого назвал своим учителем. «Мне лично этот большой и красивый писатель сказал о русском народе многое, что до него никто не умел сказать...»[2] В своих воспоминаниях Горький писал о Короленко как о «великом гуманисте», подчеркивая главную черту писателя — беззаветную веру в силы человека и народа и преданное служение ему. «Дорог человек, дорога его свобода, его возможное на земле счастье»,— писал Короленко («О сложности жизни»). Однажды в Нижнем Новгороде, сидя летней ночью на высоком берегу Волги, Горький спросил Короленко, почему он всегда такой ровный, спокойный.

---

[1] Короленко В. Г. Собр. соч. в 10-ти т., т. 10, с. 118.
[2] Горький А. М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 14, с. 245.

«Я знаю, что мне нужно делать, и убежден в полезности того, что делаю»,— ответил писатель[1].

Крылатой фразой, лозунгом, зовущим в будущее, стали слова Короленко: «Человек создан для счастья, как птица для полета...» «Я думаю, что это было убеждением и самого Владимира Галактионовича, направляющим в значительной степени и самую его деятельность,— вспоминал один из деятелей революционного движения С. П. Швецов.— В это страстно он верил, к этому он стремился всеми силами своей души, за это боролся, во имя этого работал... Он говорил нам, своим современникам: «Помните, человек создан для счастья!» И мы, товарищи его молодости, это помним!»[2]

М. А. Соколова

---

[1] Горький А. М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 15, с. 30.

[2] В. Г. Короленко в воспоминаниях современников, с. 51.



ЧУДНА́Я

Очерк из 80-х годов

I

— Скоро ли станция, ямщик?

— Не скоро еще,— до метели вряд ли доехать,— вишь заку́ржавело как, сивера́ идет.

Да, видно, до метели не доехать. К вечеру становится все холоднее. Слышно, как снег под полозьями поскрипывает, зимний ветер — сивера́ — гудит в темном бору, ветви елей протягиваются к узкой лесной дороге и угрюмо качаются в опускающемся сумраке раннего вечера.

Холодно и неудобно. Кибитка узка, под бока давит, да еще некстати шашки и револьверы провожатых болтаются. Колокольчик выводит какую-то длинную, однообразную песню, в тон запевающей метели.

К счастию — вот и одинокий огонек станции на опушке гудящего бора.

Мои провожатые, два жандарма, брящая целым арсеналом вооружения, стряхивают снег в жарко натопленной, темной, закопченной избе. Бедно и неприветно. Хозяйка укрепляет в светильне дымящую лучину.

— Нет ли чего поесть у тебя, хозяйка?
— Ничего нет-то у нас...
— А рыба? Река тут у вас недалече.
— Была рыба, да выдра всю позо́бала.
— Ну, картошки...
— И-й, батюшка! Померзла картошка-то у нас ноне, вся померзла.

Делать нечего; самовар, к удивлению, нашелся. Погрелись чаем, хлеба и луковиц принесла хозяйка в лукошке. А вьюга на дворе разыгрывалась, мелким снегом в окна сыпало, и по временам даже свет лучины вздрагивал и колебался.

— Нельзя вам ехать-то будет,— ночуйте!— говорит старуха.

— Что ж, ночуем. Вам ведь, господин, торопиться-то некуда тоже. Видите — тут сторона-то какая!.. Ну, а там еще хуже — верьте слову,— говорит один из провожатых.

В избе все смолкло. Даже хозяйка сложила свою прясницу с пряжей и улеглась, перестав светить лучину. Водворился мрак и молчание, нарушаемое только порывистыми ударами налетавшего ветра.

Я не спал. В голове, под шум бури, поднимались и летели одна за другой тяжелые мысли.

— Не спится, видно, господин?— произносит тот же провожатый — «старшой», человек довольно симпатичный, с приятным, даже как будто интеллигентным лицом, расторопный, знающий свое дело и поэтому не педант. В пути он не прибегает к ненужным стеснениям и формальностям.

— Да, не спится.

Некоторое время проходит в молчании, но я слышу, что и мой сосед не спит,— чуется, что и ему не до сна, что

и в его голове бродят какие-то мысли. Другой провожатый, молодой «подручный», спит сном здорового, но крепко утомленного человека. Временами он что-то невнятно бормочет.

— Удивляюсь я вам,— слышится опять ровный, грудной голос унтера,— народ молодой, люди благородные, образованные, можно сказать,— а как свою жизнь проводите...

— Как?

— Эх, господин! Неужто мы не можем понимать!.. Довольно понимаем, не в эдакой, может, жизни были и не к этому с измалетства-то привыкли...

— Ну, это вы пустое говорите... Было время и отвыкнуть...

— Неужто весело вам?— произносит он тоном сомнения.

— А вам весело?..

Молчание. Гаврилов (будем так звать моего собеседника), по-видимому, о чем-то думает.

— Нет, господин, невесело нам. Верьте слову: иной раз бывает — просто, кажется, на свет не глядел бы... С чего уж это, не знаю,— только иной раз так подступит — нож острый, да и только.

— Служба, что ли, тяжелая?

— Служба службой... Конечно, не гулянье, да и начальство, надо сказать, строгое, а только все же не с этого...

— Так отчего же?

— Кто знает?..

Опять молчание.

— Служба что. Сам себя веди аккуратно, только и всего. Мне, тем более, домой скоро. Из сдаточных я, так срок выходит. Начальник и то говорит: «Оставайся, Гаврилов, что тебе делать в деревне? На счету ты хорошем...»

— Останетесь?

— Нет. Оно, правда, и дома-то... От крестьянской работы отвык... Пища тоже. Ну и, само собой, обхождение... Грубость эта...

— Так в чем же дело?

Он подумал и потом сказал:

— Вот я вам, господин, ежели не поскучаете, случай один расскажу... Со мной был...

— Расскажите...

II

Поступил я на службу в 1874 году, в эскадрон, прямо из сдаточных. Служил хорошо, можно сказать, с полным усердием, все больше по нарядам: в парад куда, к театру,— сами знаете. Грамоте хорошо был обучен, ну, и начальство не оставляло. Майор у нас земляк мне был и, как видя мое старание, призывает раз меня к себе и говорит: «Я тебя, Гаврилов, в унтер-офицеры представлю... Ты в командировках бывал ли?» — Никак нет, говорю, ваше высокоблагородие.— «Ну, говорит, в следующий раз назначу тебя в подручные, присмотришься — дело нехитрое».— Слушаю, говорю, ваше высокоблагородие, рад стараться.

А в командировках я точно что не бывал ни разу,— вот с вашим братом, значит. Оно, хоть, скажем, дело-то нехитрое, а все же, знаете, инструкции надо усвоить, да и расторопность нужна. Ну, хорошо...

Через неделю этак места зовет меня дневальный к начальнику и унтер-офицера одного вызывает. Пришли. «Вам, говорит, в командировку ехать. Вот тебе,— говорит унтер-офицеру,— подручный. Он еще не бывал. Смотрите, не зевать, справьтесь, говорит, ребята, молодцами,— барышню вам везти из замка, политичку, Морозову. Вот вам инструкция, завтра деньги получай и с богом!..»

Иванов, унтер-офицер, в старших со мною ехал, а я в подручных,— вот как у меня теперь другой-то жандарм. Старшему сумка казенная дается, деньги он на руки получает, бумаги; он расписывается, счеты эти ведет, ну, а рядовой в помощь ему: послать куда, за вещами присмотреть, то, другое.

Ну, хорошо. Утром, чуть свет еще,— от начальника вышли,— гляжу: Иванов мой уж выпить где-то успел. А человек был, надо прямо говорить, не подходящий — разжалован теперь... На глазах у начальства — как следует быть унтер-офицеру, и даже так, что на других кляузы наводил, выслуживался. А чуть с глаз долой, сейчас и завертится, и первым делом — выпить!

Пришли мы в замок, как следует, бумагу подали — ждем, стоим. Любопытно мне — какую барышню везти-то придется, а везти назначено нам по маршруту далеко. По самой этой дороге ехали, только в город уездный она назначена была, не в волость. Вот, мне и любопытно в первый-то раз: что, мол, за политичка такая?

Только прождали мы этак с час места, пока ее вещи собирали,— а и вещей-то с ней узелок маленький — юбчонка там, ну, то, другое,— сами знаете. Книжки тоже были, а больше ничего с ней не было; небогатых, видно, родителей, думаю. Только выводят ее — смотрю: молодая еще, как есть ребенком мне показалась. Волосы русые, в одну косу собраны, на щеках румянец. Ну, потом увидел я — бледная совсем, белая во всю дорогу была. И сразу мне ее жалко стало... Конечно, думаю... Начальство, извините... зря не накажет... Значит, сделала какое-нибудь качество по этой, по политической части... Ну, а все-таки... жалко, так жалко — просто, ну!

Стала она одеваться: пальто, калоши... Вещи нам ее показали,— правило значит: по инструкции мы вещи смотреть обязаны. «Деньги, спрашиваем, с вами какие будут?» «Рубль двадцать копеек денег оказалось,— старшой к себе взял». «Вас, барышня, говорит ей, я обыскать должен».

Как она тут вспыхнет. Глаза загорелись, румянец еще гуще выступил. Губы тонкие, сердитые... Как посмотрела на нас,— верите: оробел я и подступиться не смею. Ну, а старшой, известно, выпивши: лезет к ней прямо. «Я, говорит, обязан; у меня, говорит, инструкция!..»

Как тут она крикнет,— даже Иванов и тот от нее попятился. Гляжу я на нее — лицо побледнело, ни кровинки, а глаза потемнели, и злая-презлая... Ногой топает, говорит шибко,— только я, признаться, хорошо и не слушал, что она говорила... Смотритель тоже испугался, воды ей принес в стакане. «Успокойтесь,— просит ее,— пожалуйста, говорит, сами себя пожалейте!» Ну, она и ему не уважила.— «Варвары вы, говорит, холопы!» — И прочие тому подобные дерзкие слова выражает. Как хотите: супротив начальства это ведь нехорошо. Ишь, думаю, змееныш... Дворянское отродье!

Так мы ее и не обыскивали. Увел ее смотритель в другую комнату, да с надзирательницей тотчас же и вышли они. «Ничего, говорит, при них нет». А она на него глядит и точно вот смеется в лицо ему, и глаза злые все. А Иванов,— известно, море по колена,— смотрит да все свое бормочет: «Не по закону... у меня, говорит, инструкция!..» Только смотритель внимания не взял. Конечно, как он пьяный. Пьяному какая вера!

Поехали. По городу проезжали,— все она в окна кареты глядит, точно прощается либо знакомых увидеть хочет.

А Иванов взял да занавески опустил — окна и закрыл. Забилась она в угол, прижалась и не глядит на нас. А я, признаться, не утерпел-таки: взял за край одну занавеску, будто сам поглядеть хочу,— и открыл так, чтобы ей видно было... Только она и не посмотрела — в уголку сердитая сидит, губы закусила... в кровь, так я себе думал, искусает.

Поехали по железной дороге. Погода ясная этот день стояла — осенью дело это было, в сентябре месяце. Солнце-то светит, да ветер свежий, осенний, а она в вагоне окно откроет, сама высунется на ветер, так и сидит. По инструкции-то оно не полагается, знаете, окна открывать, да Иванов мой, как в вагон ввалился, так и захрапел; а я не смею ей сказать. Потом осмелился, подошел к ней и говорю: — Барышня, говорю, закройте окно.— Молчит, будто не ей и говорят. Постоял я тут, постоял, а потом опять говорю:

— Простудитесь, барышня,— холодно ведь.

Обернулась она ко мне и уставилась глазищами, точно удивилась чему... Поглядела да и говорит: — Оставьте!— И опять в окно высунулась. Махнул я рукой, отошел в сторону.

Стала она спокойнее будто. Закроет окно, в пальтишко закутается вся, греется. Ветер, говорю, свежий был, студено! А потом опять к окну сядет, и опять на ветру вся,— после тюрьмы-то, видно, не наглядится. Повеселела даже, глядит себе, улыбается. И так на нее в те поры хорошо смотреть было!.. Верите совести...

Рассказчик замолчал и задумался. Потом продолжал, как будто слегка конфузясь:

— Конечно, не с привычки это... Потом много возил, привык. А тот раз чудно мне показалось: куда, думаю, мы ее везем, дитё этакое... И потом... признаться вам, господин, уж вы не осудите: что, думаю, ежели бы у начальства попросить да в жены ее взять... Ведь уж я бы из нее дурь-то эту выкурил. Человек я, тем более, служащий... Конечно, молодой разум... глупый... Теперь могу понимать... Попу тогда на духу рассказал, он говорит: «Вот от этой самой мысли порча у тебя и пошла. Потому что она, верно, и в бога-то не верит...»

От Костромы на тройке ехать пришлось; Иванов у меня пьян-пьянешенек: проспится и опять заливает. Вышел из вагона, шатается. Ну, думаю, плохо, как бы денег казенных не растерял. Ввалился в почтовую телегу,

лег и разом захрапел. Села она рядом,— неловко. Посмотрела на него — ну, точно вот на гадину на какую. Подобралась так, чтобы не тронуть его как-нибудь,— вся в уголку и прижалась, а я-то уже на облучке уселся. Как поехали,— ветер сиверный,— я и то продрог. Закашляла крепко и платок к губам поднесла, а на платке, гляжу, кровь. Так меня будто кто в сердце кольнул булавкой.— Эх, говорю, барышня,— как можно! Больны вы, а в такую дорогу поехали,— осень, холодно!.. Нешто, говорю, можно этак!

Вскинула она на меня глазами, посмотрела и точно опять внутри у нее закипать стало.

— Что вы, говорит, глупы, что ли? Не понимаете, что я не по своей воле еду? Хорош, говорит: сам везет, да туда же еще с жалостью суется!

— Вы бы, говорю, начальству заявили,— в больницу хоть слегли бы, чем в этакой холод ехать. Дорога-то ведь не близкая!

— А куда?— спрашивает.

А нам, знаете, строго запрещено объяснять преступникам, куда их везти приказано. Видит она, что я позамялся, и отвернулась.— Не надо, говорит, это я так... Не говорите ничего, да уж и сами не лезьте.

Не утерпел я.— Вот, говорю, куда вам ехать. Не близко!— Сжала она губы, брови сдвинула, да ничего и не сказала. Покачал я головой...— Вот, то-то, говорю, барышня. Молоды вы, не знаете еще, что это значит!

Крепко мне досадно было... Рассердился... А она опять посмотрела на меня и говорит:

— Напрасно, говорит, вы так думаете. Знаю я хорошо, что это значит, а в больницу все-таки не слегла. Спасибо! Лучше уж, коли помирать, так на воле, у своих. А то может еще и поправлюсь, так опять же на воле, а не в больнице вашей тюремной. Вы думаете, говорит, от ветру я, что ли, заболела, от простуды? Как бы не так!— «Там у вас, спрашиваю, сродственники, что ли, находятся?» — Это я потому, как она мне выразила, что у *своих* поправляться хочет.

— Нет, говорит, у меня там ни родни, ни знакомых. Город-то мне чужой, да, верно, такие же, как и я, ссыльные есть, товарищи.— Подивился я,— как это она чужих людей своими называет,— неужто, думаю, кто ее без денег там поить-кормить станет, да еще незнакомую?.. Только не стал ее расспрашивать, потому вижу я: брови

она поднимает, недовольна, зачем я расспрашиваю.

— Ладно, думаю... Пущай! Нужды еще не видала. Хлебнет горя, узнает, небось, что значит чужая сторона...

К вечеру тучи надвинулись, ветер подул холодный,— а там и дождь пошел. Грязь и прежде была не высохши, а тут до того развезло — просто кисель, не дорога! Спину-то мне как есть грязью всю забрызгало, да и ей порядочно попадать стало. Одним словом сказать, что погода, на ее несчастие, пошла самая скверная: дождиком прямо в лицо сечет; оно хоть, положим, кибитка-то крытая, и рогожей я ее закрыл, да куда тут! Течет всюду; продрогла, гляжу: вся дрожит и глаза закрыла. По лицу капли дождевые потекли, а щеки бледные, и не двинется, точно в бесчувствии. Испугался я даже. Вижу: дело-то, выходит, неподходящее, плохое... Иванов пьян,— храпит себе, горюшка мало... Что тут делать, тем более я в первый раз.

В Ярославль город самым вечером приехали. Растолкал я Иванова, на станцию вышли; велел я самовар согреть. А из городу из этого пароходы ходят, только по инструкции нам на пароходах возить строго воспрещается. Оно хоть нашему брату выгоднее — экономию загнать можно, да боязно. На пристани, знаете, полицейские стоят, а то и наш же брат, жандарм местный, кляузу подвести завсегда может. Вот, барышня-то и говорит нам: «Я, говорит, далее на почтовых не поеду. Как знаете, говорит, пароходом везите». А Иванов еле глаза продрал с похмелья,— сердитый. «Вам об этом, говорит, рассуждать не полагается. Куда повезут, туда и поедете!» Ничего она ему не сказала, а мне говорит:

— Слышали, говорит, что я сказала: не еду.

Отозвал я тут Иванова в сторону. «Надо, говорю, на пароходе везти. Вам же лучше: экономия останется». Он на это пошел, только трусит. «Здесь, говорит, полковник, так как бы чего не вышло. Ступай, говорит, спросись,— мне, говорит, нездоровится что-то». А полковник неподалеку жил. «Пойдем, говорю, вместе и барышню с собой возьмем». Боялся я: Иванов-то, думаю, спать завалится спьяну, так как бы чего не вышло. Чего доброго — уйдет она или над собой что сделает,— в ответ попадешь. Ну, пошли мы к полковнику. Вышел он к нам. «Что надо?» — спрашивает. Вот она ему и объясняет, да тоже и с ним не ладно заговорила. Ей бы попросить смирненько: так и так, мол, сделайте божескую милость,— а она тут по-

своему: «По какому праву», говорит, ну и прочее; все, знаете, дерзкие слова выражает, которые вы вопче, политики, любите. Ну, сами понимаете, начальству это не нравится. Начальство любит покорность. Однако выслушал он ее и ничего — вежливо отвечает: «Не могу-с, говорит, ничего я тут не могу. По закону-с... нельзя!» Гляжу, барышня-то моя опять раскраснелась, глаза — точно угли. «Закон!» — говорит, и засмеялась по-своему, сердито да громко. «Так точно,— полковник ей,— закон-с!»

Признаться, я тут позабылся немного, да и говорю: «Точно что, вашескородие, закон, да они, ваше высокоблагородие, больны». Посмотрел он на меня строго. «Как твоя фамилия?» — спрашивает. «А вам, барышня, говорит, если больны вы,— в больницу тюремную не угодно ли-с?» Отвернулась она и пошла вон, слова не сказала. Мы за ней. Не захотела в больницу; да и то надо сказать: уж если на месте не осталась, а тут без денег, да на чужой стороне, точно что не приходится.

Ну, делать нечего. Иванов на меня же накинулся: «Что, мол, теперь будет; непременно из-за тебя, дурака, оба в ответе будем». Велел лошадей запрягать и ночь переждать не согласился, так к ночи и выезжать пришлось. Подошли мы к ней: «Пожалуйте, говорим, барышня,— лошади поданы». А она на диван прилегла,— только согреваться стала. Вспрыгнула на ноги, встала перед нами,— выпрямилась вся,— прямо на нас смотрит в упор, даже, скажу вам, жутко на нее глядеть стало. «Проклятые вы», говорит,— и опять по-своему заговорила, непонятно. Ровно бы и по-русски, а ничего понять невозможно. Только сердито да жалко: «Ну, говорит, теперь ваша воля, вы меня замучить можете,— что хотите делаете. Еду!» А самовар-то все на столе стоит, она еще и не пила. Мы с Ивановым свой чай заварили, и ей я налил. Хлеб с нами белый был, я тоже ей отрезал. «Выкушайте, говорю, на дорогу-то. Ничего, хоть согреетесь немного». Она калоши надевала, бросила надевать, повернулась ко мне, смотрела, смотрела, потом плечами повела и говорит:

— Что это за человек такой! Совсем вы, кажется, сумасшедший. Стану я, говорит, ваш чай пить!— Вот до чего мне тогда обидно стало: и посейчас вспомню, кровь в лицо бросается. Вот вы не брезгаете же с нами хлеб-соль есть. Рубанова господина везли,— штаб-офицерский

сын, а тоже не брезгал. А она побрезгала. Велела потом на другом столе себе самовар особо согреть, и уж известно: за чай за сахар вдвое заплатила. А всего-то и денег — рубль двадцать!

III

Рассказчик смолк, и на некоторое время в избе водворилась тишина, нарушаемая только ровным дыханием младшего жандарма и шипением метели за окном.

— Вы не спите?— спросил у меня Гаврилов.

— Нет, продолжайте, пожалуйста,— я слушаю.

— ...Много я от нее,— продолжал рассказчик, помолчав,— много муки тогда принял. Дорогой-то, знаете, ночью, все дождик, погода злая... Лесом поедешь, лес стоном стонет. Ее-то мне и не видно, потому ночь темная, ненастная, зги не видать, а поверите,— так она у меня перед глазами стоит, то есть даже до того, что вот, точно днем, ее вижу: и глаза ее, и лицо сердитое, и как она иззябла вся, а сама все глядит куда-то, точно всё мысли свои про себя в голове ворочает. Как со станции поехали, стал я ее тулупом одевать. «Наденьте, говорю, тулуп-то, все, знаете, теплее». Кинула тулуп с себя. «Ваш, говорит, тулуп,— вы и надевайте». Тулуп, точно, что мой был, да догадался я и говорю ей: «Не мой, говорю, тулуп, казенный, по закону арестованным полагается». Ну, оделась...

Только и тулуп не помог: как рассвело,— глянул я на нее, а на ней лица нет. Со станции опять поехали, приказала она Иванову на облучок сесть. Поворчал он, да не посмел ослушаться, тем более — хмель-то у него прошел немного. Я с ней рядом сел.

Трои сутки мы ехали и нигде не ночевали. Первое дело, по инструкции сказано: не останавливаться на ночлег, а «в случае сильной усталости» — не иначе, как в городах, где есть караулы. Ну, а тут, сами знаете, какие города!

Приехали-таки на место. Точно гора у меня с плеч долой, как город мы завидели. И надо вам сказать: в конце она почитай что на руках у меня и ехала. Вижу — лежит в повозке без чувств; тряхнет на ухабе телегу, так она головой о переплет и ударится. Поднял я ее на руку на правую, так и вез; все легче. Сначала оттолкнула было меня: «Прочь! говорит, не прикасайтесь!» А потом ничего. Может, оттого, что в беспамятстве была... Глаза-то

закрыты, веки совсем потемнели, и лицо лучше стало, не такое сердитое. И даже так было, что засмеется сквозь сон и просветлеет, прижимается ко мне, к теплому-то. Верно, ей, бедной, хорошее во сне грезилось. Как к городу подъезжать стали, очнулась, поднялась... Погода-то прошла, солнце выглянуло,— повеселела...

Только из губернии ее далее отправили, в городе в губернском не оставили, и нам же ее дальше везти привелось — тамошние жандармы в разъездах были. Как уезжать нам,— гляжу, в полицию народу набирается: барышни молодые да господа студенты, видно, из ссыльных... И все, точно знакомые, с ней говорят, за руку здороваются, расспрашивают. Денег ей сколько-то принесли, платок пуховый на дорогу, хороший... Проводили...

Ехала веселая, только кашляла часто. А на нас и не смотрела.

Приехали в уездный город, где ей жительство назначено; сдали ее под расписку. Сейчас она фамилию какую-то называет. «Здесь, говорит, такой-то?» — «Здесь», отвечают. Исправник приехал. «Где, говорит, жить станете?» — «Не знаю, говорит, а пока к Рязанцеву пойду». Покачал он головой, а она собралась и ушла. С нами и не попрощалась...

IV

Рассказчик смолк и прислушался, не сплю ли я.

— Так вы ее больше и не видели?

— Видал, да лучше бы уж не видать было...

...И скоро даже я опять ее увидел. Как приехали мы из командировки,— сейчас нас опять нарядили и опять в ту же сторону. Студента одного возили, Загряжского. Веселый такой, песни хорошо пел и выпить был не дурак. Его еще дальше послали. Вот поехали мы через город тот самый, где ее оставили, стало мне любопытно про житье ее узнать. «Тут, спрашиваю, барышня-то наша?» — Тут, говорят, только чудна́я она какая-то: как приехала, так прямо к ссыльному пошла, и никто ее после не видал,— у него и живет. Кто говорит: больна она, а то бают: вроде она у него за любовницу живет. Известно, народ болтает... А мне вспомнилось, что она говорила: «Помереть мне у *своих* хочется». И так мне любопытно стало... и не то, что любопытно, а, попросту сказать, потянуло. Схожу,

думаю, повидаю ее. От меня она зла не видала, а я на ней зла не помню. Сем схожу...

Пошел,— добрые люди дорогу показали; а жила она в конце города. Домик маленький, дверца низенькая. Вошел я к ссыльному-то к этому, гляжу: чисто у него, комната светлая, в углу кровать стоит, и занавеской угол отгорожен. Книг много, на столе, на полках... А рядом мастерская махонькая, там на скамейке другая постель положена.

Как вошел я,— она на постели сидела, шалью обернута и ноги под себя подобрала,— шьет что-то. А ссыльный... Рязанцев господин по фамилии... рядом на скамейке сидит, в книжке ей что-то вычитывает. В очках, человек, видно, сурьезный. Шьет она, а сама слушает. Стукнул я дверью, она, как увидала, приподнялась, за руку его схватила, да так и замерла. Глаза большие, темные да страшные... ну, все, как и прежде бывало, только еще бледнее с лица мне показалась. За руку его крепко стиснула,— он испугался, к ней кинулся: «Что, говорит, с вами? Успокойтесь!» А сам меня не видит. Потом отпустила она руку его — с постели встать хочет. «Прощайте,— говорит ему,— видно, им для меня и смерти хорошей жалко». Тут и он обернулся, увидал меня,— как вскочит на ноги. Думал я — кинется... убьет, пожалуй. Человек, тем более, рослый, здоровый...

Они знаете, подумали так, что опять это за нею приехали... Только видит он — стою я и сам ни жив, ни мертв, да и один. Повернулся к ней, взял за руку. «Успокойтесь, говорит.— А вам, спрашивает, кавалер, что здесь, собственно, понадобилось?.. Зачем пожаловали?»

Я объяснил, что, мол, ничего мне не нужно, а так пришел, сам по себе. Как вез, мол, барышню, и были они нездоровы, так узнать пришел... Ну, он обмяк. А она все такая же сердитая, кипит вся. И за что бы, кажется? Иванов, конечно, человек необходительный. Так я же за нее заступался...

Разобрал он, в чем дело, засмеялся к ней: «Ну вот видите, говорит, я же вам говорил». Я так понял, что у них был разговор обо мне... Про дорогу она, видно, рассказывала.

— Извините, говорю, ежели напугал вас... Не во́время или что... Так я и уйду. Прощайте, мол, не поминайте лихом, добром, видно, не помянете.

Встал он, в лицо мне посмотрел и руку подает.

— Вот что, говорит, поедете назад, свободно будет,— заходите, пожалуй.— А она смотрит на нас да усмехается по-своему, нехорошо.

— Не понимаю я, говорит, зачем ему заходить? И для чего зовете?— А он ей: — Ничего, ничего! Пусть зайдет, если сам опять захочет... заходите, заходите, ничего!

Не все я, признаться, понял, что они тут еще говорили. Вы ведь, господа, мудрено иной раз промеж себя разговариваете... А любопытно. Ежели бы так остаться, послушать... ну, мне неловко,— как бы чего не подумали. Ушел.

Ну, только свезли мы господина Загряжского на место, едем назад. Призывает исправник старшо́го и говорит: «Вам тут оставаться вперед до распоряжения; телеграмму получил. Бумаг вам ждать по почте». Ну, мы, конечно, остались.

Вот я опять к ним: дай, думаю, зайду — хоть у хозяев про нее спрошу. Зашел. Говорит хозяин домовый: «Плохо, говорит, как бы не померла. Боюсь, в ответ не попасть бы,— потому собственно, что попа звать не станут». Только стоим мы, разговариваем, а в это самое время Рязанцев вышел. Увидел меня, поздоровался, да и говорит: «Опять пришел? Что ж, войди, пожалуй». Я и вошел тихонько, а он за мной вошел. Поглядела она, да и спрашивает: «Опять этот странный человек!.. Вы, что ли, его позвали?» «Нет, говорит, не звал я,— сам он пришел». Я не утерпел и говорю ей:

— Что это, говорю, барышня,— за что вы сердце против меня имеете? Или я враг вам какой?

— Враг и есть, говорит,— а вы разве не знаете? Конечно, враг!— Голос у нее слабый стал, тихий, на щеках румянец так и горит, и столь лицо у нее приятное... кажется, не нагляделся бы. Эх, думаю,— не жилица она на свете,— стал прощения просить,— как бы, думаю, без прощения не померла. «Простите меня, говорю, коли вам зло какое сделал». Известно, как по-нашему, по-христиански полагается... А она опять, гляжу, закипает... «Простить! вот еще! Никогда не прощу, и не думайте, никогда! Помру скоро... так и знайте: не простила!»

Рассказчик опять смолк и задумался. Потом продолжал тише и сосредоточеннее:

— Опять у них промежду себя разговор пошел. Вы вот

человек образованный, по-ихнему понимать должны, так я вам скажу, какие слова я упомнил. Слова-то запали и посейчас помню, а смыслу не знаю. Он говорит:

— Видите: не жандарм к вам пришел сейчас... Жандарм вас вез, другого повезет, так это он все по инструкции. А сюда-то его разве инструкция привела? Вы вот что, говорит, господин кавалер, не знаю как звать вас...

— Степан,— говорю.

— А по батюшке как?

— Петровичем звали.

— Так вот, мол, Степан Петрович. Вы ведь сюда почему пришли? По человечеству? Правда?

— Конечно, говорю, по человечеству. Это, говорю, вы верно объясняете. Ежели по инструкции, так это нам вовсе даже не полагается, что к вам заходить без надобности. Начальство узнает — не похвалит.

— Ну, вот видите,— он ей говорит и за руку ее взял. Она руку выдернула.

— Ничего, говорит, не вижу. Это вы видите, чего и нет. А мы с ним вот (это значит со мной) люди простые. Враги так враги, и нечего тут антимонии разводить. Ихнее дело — смотри, наше дело — не зевай. Он, вот видите: стоит, слушает. Жалко, не понимает, а то бы в донесении все написал...

Повернулся он в мою сторону, смотрит прямо на меня, в очки. Глаза у него вострые, а добрые. «Слышите?— мне говорит.— Что же вы скажете?.. Впрочем, не объясняйте ничего: я так считаю, что вам это обидно».

Оно, скажем, конечно... по инструкции так полагается, что ежели что супротив интересу, то обязан я, по присяжной должности, на отца родного донести... Ну, только как я не затем, значит, пришел, то верно, что обидно мне показалось, просто за сердце взяло. Повернулся к дверям, да Рязанцев удержал.

— Погоди, говорит, Степан Петрович,— не уходи еще.— А ей говорит: «Нехорошо это... Ну, не прощайте, и не миритесь. Об этом что говорить. Он и сам, может, не простил бы, ежели бы как следует все понял... Да ведь и враг тоже человек бывает... А вы этого-то вот и не признаете. Сек-тан-тка вы, говорит, вот что!»

— Пусть,— она ему,— а вы равнодушный человек... Вам бы, говорит, только книжки читать...

Как она ему это слово сказала,— он, чудное дело,

даже на ноги вскочил. Точно ударила его. Она, вижу, испугалась даже.

— Равнодушный?— он говорит.— Ну, вы сами знаете, что неправду сказали.

— Пожалуй,— она ему отвечает.— А вы мне — правду?..

— А я,— говорит,— правду: настоящая вы боярыня Морозова...

Задумалась она, руку ему протянула; он руку-то взял, а она в лицо ему посмотрела-посмотрела, да и говорит: «Да, вы, пожалуй, и правы!» А я стою, как дурак, смотрю, а у самого так и сосет что-то у сердца, так и подступает. Потом обернулась ко мне, посмотрела и на меня без гнева и руку подала. «Вот, говорит, что я вам скажу: враги мы до смерти... Ну, да бог с вами, руку вам подаю,— желаю вам когда-нибудь человеком стать — вполне, не по инструкции... Устала я»,— говорит ему.

Я и вышел. Рязанцев тоже за мной вышел. Стали мы во дворе, и вижу я: на глазах у него будто слеза поблескивает.

— Вот что, говорит, Степан Петрович. Долго вы еще тут пробудете?

— Не знаю, говорю, может и еще дня три, до почты.

— Ежели, говорит, еще зайти захотите, так ничего, зайдите. Вы, кажется, говорит, человек, по своему делу, ничего...

— Извините, говорю, напугал...

— То-то, говорит, уж вы лучше хозяйке сначала скажите.

— А что я хочу спросить, говорю: вы вот про боярыню говорили, про Морозову. Они, значит, боярского роду?

— Боярского, говорит, или не боярского, а уж порода такая: сломать ее, говорит, можно... Вы и то уж сломали... Ну, а согнуть,— сам чай видел: не гнутся этакие.

На том и попрощались.

V

...Померла она скоро. Как хоронили ее, я и не видал — у исправника был. Только на другой день ссыльного этого встретил; подошел к нему,— гляжу: на нем лица нет...

Росту был он высокого, с лица сурьезный, да ранее приветливо смотрел, а тут зверем на меня, как есть, глянул. Подал было руку, а потом вдруг руку мою бросил и сам

отвернулся. «Не могу, говорит, я тебя видеть теперь. Уйди, братец, бога ради, уйди!..» Опустил голову, да и пошел, а я на фатеру пришел и так меня засосало,— просто, пищи дни два не принимал. С этих самых пор тоска и увязалась ко мне. Точно порченый.

На другой день исправник призвал нас и говорит: «Можете, говорит, теперь отправляться: пришла бумага, да поздно». Видно, опять нам ее везти пришлось бы, да уж бог ее пожалел: сам убрал.

...Только что еще со мной после случилось,— не конец ведь еще. Назад едучи, приехали мы на станцию одну... Входим в комнату, а там на столе самовар стоит, закуска всякая, и старушка какая-то сидит, хозяйку чаем угощает. Чистенькая старушка, маленькая, да веселая такая и говорливая. Все хозяйке про свои дела рассказывает: «Вот, говорит, собрала я пожитки, дом-то, по наследству который достался, продала и поехала к моей голубке. То-то обрадуется! Уж и побранит, рассердится, знаю, что рассердится,— а все же рада будет. Писала мне, не велела приезжать. Чтобы даже ни в каком случае не смела я к ней ехать. Ну, да ничего это!»

Так тут меня ровно кто под левый бок толкнул. Вышел я в кухню. «Что за старушка?» — спрашиваю у девки-прислуги. «А это, говорит, самой той барышни, что вы тот раз везли, матушка родная будет». Тут меня шатнуло даже. Видит девка, как я в лице расстроился, спрашивает: «Что, говорит, служивый, с тобой?»

— Тише, говорю, что орешь... барышня-то померла.

Тут она, девка это,— и девка-то, надо сказать, гулящая была, с проезжающими баловала,— как всплеснет руками да как заплачет, и из избы вон. Взял и я шапку, да и сам вышел,— слышал только, как старуха в зале с хозяйкой все болтают, и так мне этой старухи страшно стало, так страшно, что и выразить невозможно. Побрел я прямо по дороге,— после уж Иванов меня догнал с телегой, я и сел.

VI

...Вот какое дело!.. А исправник донес, видно, начальству, что я к ссыльным ходил, да и полковник костромской тоже донес, как я за нее заступался,— одно к одному и подошло. Не хотел меня начальник и в унтер-офицеры представлять. «Какой ты, говорит, унтер-офицер,— баба ты! В карцер бы тебя, дурака!» Только я в это время

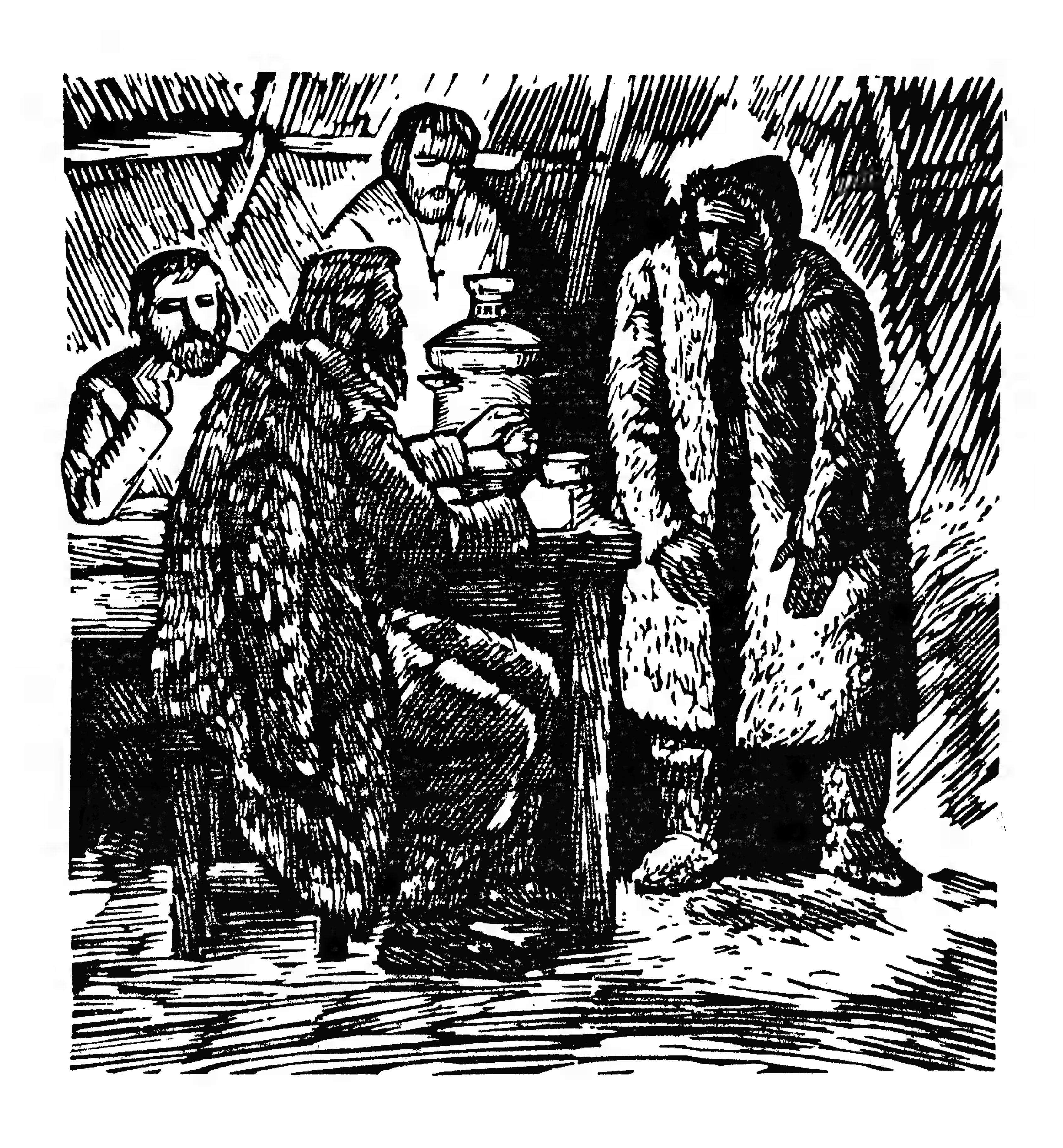
в равнодушии находился и даже нисколько не жалел ничего.

И все я эту барышню сердитую забыть не мог, да и теперь то же самое: так и стоит, бывает, перед глазами.

Что бы это значило? Кто бы мне объяснил! Да вы, господин, не спите?

Я не спал... Глубокий мрак закинутой в лесу избушки томил мою душу, и скорбный образ умершей девушки вставал в темноте под глухие рыдания бури...

1880



СОН МАКАРА

Святочный рассказ

I

Этот сон видел бедный Макар, который загнал своих телят в далекие, угрюмые страны,— тот самый Макар, на которого, как известно, валятся все шишки.

Его родина — глухая слободка Чалган — затерялась в далекой якутской тайге. Отцы и деды Макара отвоевали у тайги кусок промерзшей землицы, и хотя угрюмая чаща все еще стояла кругом враждебною стеной, они не унывали. По расчищенному месту побежали изгороди, стали скирды и стога, разрастались маленькие дымные

юртенки; наконец, точно победное знамя, на холмике из середины поселка выстрелила к небу колокольня. Стал Чалган большою слободой.

Но пока отцы и деды Макара воевали с тайгой, жгли ее огнем, рубили железом, сами они незаметно дичали. Женясь на якутках, они перенимали якутский язык и якутские нравы. Характеристические черты великого русского племени стирались и исчезали.

Как бы то ни было, все же мой Макар твердо помнил, что он коренной чалганский крестьянин. Он здесь родился, здесь жил, здесь же предполагал умереть. Он очень гордился своим званием и иногда ругал других «погаными якутами», хотя, правду сказать, сам не отличался от якутов ни привычками, ни образом жизни. По-русски он говорил мало и довольно плохо, одевался в звериные шкуры, носил на ногах «торбаса́», питался в обычное время одною лепешкой с настоем кирпичного чая, а в праздники и в других экстренных случаях съедал топленого масла именно столько, сколько стояло перед ним на столе. Он ездил очень искусно верхом на быках, а в случае болезни призывал шамана, который, беснуясь, со скрежетом кидался на него, стараясь испугать и выгнать из Макара засевшую хворь.

Работал он страшно, жил бедно, терпел голод и холод. Были ли у него какие-нибудь мысли, кроме непрестанных забот о лепешке и чае?

Да, были.

Когда он бывал пьян, он плакал. «Какая наша жизнь,— говорил он,— господи боже!» Кроме того, он говорил иногда, что желал бы все бросить и уйти на «гору». Там он не будет ни пахать, ни сеять, не будет рубить и возить дрова, не будет даже молоть зерно на ручном жернове. Он будет только спасаться. Какая это гора, где она, он точно не знал; знал только, что гора эта есть, во-первых, а во-вторых, что она где-то далеко,— так далеко, что оттуда его нельзя будет добыть самому тойону-исправнику... Податей платить, понятно, он также не будет...

Трезвый он оставлял эти мысли, быть может, сознавая невозможность найти такую чудную гору; но пьяный становился отважнее. Он допускал, что может не найти настоящую гору и попасть на другую. «Тогда пропадать буду», говорил он, но все-таки собирался; если же не приводил этого намерения в исполнение, то, вероятно, потому, что поселенцы-татары продавали ему всегда

скверную водку, настоянную, для крепости, на махорке, от которой он вскоре впадал в бессилие и становился болен.

II

Дело было в канун рождества, и Макару было известно, что завтра большой праздник. По этому случаю его томило желание выпить, но выпить было не на что: хлеб был в исходе; Макар уже задолжал у местных купцов и у татар. Между тем завтра большой праздник, работать нельзя,— что же он будет делать, если не напьется? Эта мысль делала его несчастным. Какая его жизнь! Даже в большой зимний праздник он не выпьет одну бутылку водки!

Ему пришла в голову счастливая мысль. Он встал и надел свою рваную *сону* (шубу). Его жена, крепкая, жилистая, замечательно сильная и столь же замечательно безобразная женщина, знавшая насквозь все его нехитрые помышления, угадала и на этот раз его намерение.

— Куда, дьявол? Опять один водку кушать хочешь?

— Молчи! Куплю одну бутылку. Завтра вместе выпьем.

Он хлопнул ее по плечу так сильно, что она покачнулась, и лукаво подмигнул. Таково женское сердце: она знала, что Макар непременно ее надует, но поддалась обаянию супружеской ласки.

Он вышел, поймал в *аласе* старого лысанку, привел его за гриву к саням и стал запрягать. Вскоре лысанка вынес своего хозяина за ворота. Тут он остановился и, повернув голову, вопросительно поглядел на погруженного в задумчивость Макара. Тогда Макар дернул левою вожжой и направил коня на край слободы.

На самом краю слободы стояла небольшая юртенка. Из нее, как и из других юрт, поднимался высоко-высоко дым камелька, застилая белою, волнующеюся массою холодные звезды и яркий месяц. Огонь весело переливался, отсвечивая сквозь матовые льдины. На дворе было тихо.

Здесь жили чужие, дальние люди. Как попали они сюда, какая непогода кинула их в далекие дебри, Макар не знал и не интересовался, но он любил вести с ними дела, так как они его не прижимали и не очень стояли за плату.

Войдя в юрту, Макар тотчас же подошел к камельку и протянул к огню свои иззябшие руки.

— Ча!— сказал он, выражая тем ощущение холода.

Чужие люди были дома. На столе горела свеча, хотя они ничего не работали. Один лежал на постели и, пуская кольца дыма, задумчиво следил за его завитками, видимо связывая с ними длинные нити собственных дум. Другой сидел против камелька и тоже вдумчиво следил, как перебегали огни по нагоревшему дереву.

— Здоро́во!— сказал Макар, чтобы прервать тяготившее его молчание.

Конечно, он не знал, какое горе лежало на сердце чужих людей, какие воспоминания теснились в их головах в этот вечер, какие образы чудились им в фантастических переливах огня и дыма. К тому же у него была своя забота.

Молодой человек, сидевший у камелька, поднял голову и посмотрел на Макара смутным взглядом, как будто не узнавая его. Потом он тряхнул головой и быстро поднялся со стула.

— А, здорово, здорово, Макар! Вот и отлично! Напьешься с нами чаю?

Макару предложение понравилось.

— Чаю?— переспросил он.— Это хорошо!.. Вот, брат, хорошо... Отлично!

Он стал живо разоблачаться. Сняв шубу и шапку, он почувствовал себя развязнее, а увидав, что в самоваре запылали уже горячие угли, обратился к молодому человеку с излиянием:

— Я вас люблю, верно!.. Так люблю, так люблю... Ночи не сплю...

Чужой человек повернулся, и на лице его появилась горькая улыбка.

— А, любишь?— сказал он.— Что же тебе надо?

Макар замялся.

— Есть дело,— ответил он.— Да ты почем узнал?.. Ладно. Ужо, чай выпью, скажу.

Так как чай был предложен Макару самими хозяевами, то он счел уместным пойти далее.

— Нет ли жареного? Я люблю,— сказал он.

— Нет.

— Ну, ничего,— сказал Макар успокоительным тоном,— съем в другой раз... Верно?— переспросил он,— в другой раз?

— Ладно.

Теперь Макар считал за чужими людьми в долгу кусок жареного мяса, а у него подобные долги никогда не пропадали.

Через час он опять сел в свои дровни. Он добыл целый рубль, продав вперед пять возов дров на сходных сравнительно условиях. Правда, он клялся и божился, что не пропьет этих денег сегодня, а сам намеревался это сделать немедленно. Но что за дело? Предстоящее удовольствие заглушало укоры совести. Он не думал даже о том, что пьяному ему предстоит жестокая трепка от обманутой верной супруги.

— Куда же ты, Макар? — крикнул, смеясь, чужой человек, видя, что лошадь Макара, вместо того чтобы ехать прямо, свернула влево, по направлению к татарам.

— Тпру-у!.. Тпру-у!.. Видишь, конь проклятый какой... куда едет! — оправдывался Макар, все-таки крепко натягивая левую вожжу и незаметно подхлестывая лысанку правой.

Умный конек, помахивая укоризненно хвостом, тихо поковылял в требуемом направлении, и вскоре скрип Макаровых полозьев затих у татарских ворот.

III

У татарских ворот стояли на привязи несколько коней с высокими якутскими седлами.

В тесной избе было душно. Резкий дым махорки стоял целой тучей, медленно вытягиваемый камельком. За столами и на скамейках сидели приезжие якуты; на столах стояли чашки с водкой; кое-где помещались кучки играющих в карты. Лица были потны и красны. Глаза игроков дико следили за картами. Деньги вынимались и тотчас же прятались по карманам. В углу, на соломе, пьяный якут покачивался сидя и тянул бесконечную песню. Он выводил горлом дикие скрипучие звуки, повторяя на разные лады, что завтра большой праздник, а сегодня он пьян.

Макар отдал деньги, и ему дали бутылку. Он сунул ее за пазуху и незаметно для других отошел в темный угол. Там он наливал чашку за чашкой и тянул их одна за другою. Водка была горькая, разведенная, по случаю праздника, водой более чем на три четверти. Зато махорки, видимо, не жалели. У Макара каждый раз захватывало на минуту дыхание, и в глазах ходили какие-то багровые круги.

Вскоре он опьянел. Он тоже опустился на солому и, обхватив руками колени, положил на них отяжелевшую голову. Из его горла сами собой полились те же нелепые скрипучие звуки. Он пел, что завтра праздник и что он выпил пять возов дров.

Между тем в избе становилось все теснее и теснее. Входили новые посетители — якуты, приехавшие молиться и пить татарскую водку. Хозяин увидел, что скоро не хватит всем места. Он встал из-за стола и окинул взглядом собрание. Взгляд этот проник в темный угол и увидел там якута и Макара.

Он подошел к якуту и, взяв его за шиворот, вышвырнул вон из избы. Потом подошел к Макару. Ему, как местному жителю, татарин оказал больше почета: широко отворив двери, он поддал бедняге сзади ногою такого леща, что Макар вылетел из избы и ткнулся носом прямо в сугроб снега.

Трудно сказать, был ли он оскорблен подобным обращением. Он чувствовал, что в рукавах у него снег, снег на лице. Кое-как выбравшись из сугроба, он поплелся к своему лысанке.

Луна поднялась уже высоко. Большая Медведица стала опускать хвост книзу. Мороз крепчал. По временам на севере, из-за темного полукруглого облака, вставали, слабо играя, огненные столбы начинавшегося северного сияния.

Лысанка, видимо понимавший положение хозяина, осторожно и разумно поплелся к дому. Макар сидел на дровнях, покачиваясь, и продолжал свою песню. Он пел, что выпил пять возов дров и что старуха будет его колотить. Звуки, вырывавшиеся из его горла, скрипели и стонали в вечернем воздухе так уныло и жалобно, что у чужого человека, который в это время взобрался на юрту, чтобы закрыть трубу камелька, стало от Макаровой песни еще тяжелее на сердце. Между тем лысанка вынес дровни на холмик, откуда видны были окрестности. Снега ярко блестели, облитые лунным сиянием. Временами свет луны как будто таял, снега темнели, и тотчас же на них переливался отблеск северного сияния. Тогда казалось, что снежные холмы и тайга на них то приближались, то опять удалялись. Макару ясно виднелась под самою тайгой снежная плешь Ямалахского холмика, за которым в тайге у него поставлены были ловушки для всякого лесного зверя и птицы.

Это изменило ход его мыслей. Он запел, что в ловушку его попала лисица. Он продаст завтра шкуру, и старуха не станет его колотить.

В морозном воздухе раздался первый удар колокола, когда Макар вошел в избу. Он первым словом сообщил старухе, что у них в плашку попала лисица. Он совсем забыл, что старуха не пила вместе с ним водки, и был сильно удивлен, когда, невзирая на радостное известие, она немедленно нанесла ему ногою жестокий удар пониже спины. Затем, пока он повалился на постель, она еще успела толкнуть его кулаком в шею.

Над Чалганом, между тем, несся, разливаясь далеко-далеко, торжественный праздничный звон...

IV

Он лежал на постели. Голова у него горела. Внутри жгло, точно огнем. По жилам разливалась крепкая смесь водки и табачного настоя. По лицу текли холодные струйки талого снега; такие же струйки стекали и по спине.

Старуха думала, что он спит. Но он не спал. Из головы у него не шла лисица. Он успел вполне убедиться, что она попала в ловушку; он даже знал, в которую именно. Он ее видел,— видел, как она, прищемленная тяжелой плахой, роет снег когтями и старается вырваться. Лучи луны, продираясь сквозь чащу, играли на золотой шерсти. Глаза зверя сверкали ему навстречу.

Он не выдержал и, встав с постели, направился к своему верному лысанке, чтобы ехать в тайгу.

Что это? Неужели сильные руки старухи схватили за воротник его соны, и он опять брошен на постель?

Нет, вот он уже за слободою. Полозья ровно поскрипывают по крепкому снегу. Чалган остался сзади. Сзади несется торжественный гул церковного колокола, а над темною чертой горизонта, на светлом небе мелькают черными силуэтами вереницы якутских всадников, в высоких, остроконечных шапках. Якуты спешат в церковь.

Между тем луна опустилась, а вверху, в самом зените, стало белесоватое облачко и засияло переливчатым фосфорическим блеском. Потом оно как будто разорвалось, растянулось, прыснуло, и от него быстро потянулись в разные стороны полосы разноцветных огней, между

тем как полукруглое темное облачко на севере еще более потемнело. Оно стало черно, чернее тайги, к которой приближался Макар.

Дорога вилась между мелкою, частою порослью. Направо и налево подымались холмы. Чем далее, тем выше становились деревья. Тайга густела. Она стояла безмолвная и полная тайны. Голые деревья лиственниц были опушены серебряным инеем. Мягкий свет сполоха, продираясь сквозь их вершины, ходил по ней, кое-где открывая то снежную полянку, то лежащие трупы разбитых лесных гигантов, запушенных снегом... Мгновение — и все опять тонуло во мраке, полном молчания и тайны.

Макар остановился. В этом месте, почти на самую дорогу, выдвигалось начало целой системы ловушек. При фосфорическом свете ему была ясно видна невысокая городьба из валежника; он видел даже первую плаху — три тяжелые длинные бревна, упертые на отвесном колу и поддерживаемые довольно хитрою системой рычагов с волосяными веревочками.

Правда, это были чужие ловушки; но ведь лисица могла попасть и в чужие. Макар торопливо сошел с дровней, оставил умного лысанку на дороге и чутко прислушался.

В тайге ни звука. Только из далекой, невидной теперь слободы несся по-прежнему торжественный звон.

Можно было не опасаться. Владелец ловушек, Алешка чалганец, сосед и кровный враг Макара, наверное, был теперь в церкви. Не было видно ни одного следа на ровной поверхности недавно выпавшего снега.

Он пустился в чащу,— ничего. Под ногами хрустит снег. Плахи стоят рядами, точно ряды пушек с открытыми жерлами, в безмолвном ожидании.

Он прошел взад и вперед,— напрасно. Он направился опять на дорогу.

Но, чу!.. Легкий шорох... В тайге мелькнула красноватая шерсть, на этот раз в освещенном месте, так близко!.. Макар ясно видел острые уши лисицы; ее пушистый хвост вилял из стороны в сторону, как будто заманивая Макара в чащу. Она исчезла между стволами, в направлении Макаровых ловушек, и вскоре по лесу пронесся глухой, но сильный удар. Он прозвучал сначала отрывисто, глухо, потом как будто отдался под навесом тайги и тихо замер в далеком овраге.

Сердце Макара забилось. Это упала плаха.

Он бросился, пробираясь сквозь чащу. Холодные ветви били его по глазам, сыпали в лицо снегом. Он спотыкался; у него захватывало дыхание.

Вот он выбежал на просеку, которую некогда сам прорубил. Деревья, белые от инея, стояли по обеим сторонам, а внизу, суживаясь, маячила дорожка, и в конце ее насторожилось жерло большой плахи... Недалеко...

Но вот на дорожке, около плахи, мелькнула фигура,— мелькнула и скрылась. Макар узнал чалганца Алешку: ему ясно была видна его небольшая коренастая фигура, согнутая вперед, с походкой медведя. Макару казалось, что темное лицо Алешки стало еще темнее, а большие зубы оскалились еще более, чем обыкновенно.

Макар чувствовал искреннее негодование. «Вот подлец!.. Он ходит по моим ловушкам». Правда, Макар и сам сейчас только прошел по плахам Алешки, но тут была разница... Разница состояла именно в том, что, когда он сам ходил по чужим ловушкам, он чувствовал страх быть застигнутым; когда же по его плахам ходили другие, он чувствовал негодование и желание самому настигнуть нарушителя его прав.

Он бросился наперерез к упавшей плахе. Там была лисица. Алешка своею развалистою, медвежьей походкой направлялся туда же. Надо было поспевать ранее.

Вот и лежачая плаха. Под нею краснеет шерсть прихлопнутого зверя. Лисица рылась в снегу когтями именно так, как она ему виделась прежде, и так же смотрела ему навстречу своими острыми, горящими глазами.

— *Тытымá* (не тронь)!.. Это мое!— крикнул Макар Алешке.

— *Тытымá!*— отдался, точно эхо, голос Алешки.— Мое!

Они оба побежали в одно время и торопливо, наперебой, стали подымать плаху, освобождая из-под нее зверя. Когда плаха была приподнята, лисица поднялась также. Она сделала прыжок, потом остановилась, посмотрела на обоих чалганцев каким-то насмешливым взглядом, потом, загнув морду, лизнула прищемленное бревном место и весело побежала вперед, приветливо виляя хвостом.

Алешка бросился было за нею, но Макар схватил его сзади за полу соны.

— *Тытымá!*— крикнул он.— Это мое!— и сам побежал вслед за лисицей.

— *Тытымá!*— опять эхом отдался голос Алешки,

и Макар почувствовал, что тот схватил его, в свою очередь, за сону и в одну секунду опять выбежал вперед.

Макар обозлился. Он забыл про лисицу и устремился за Алешкой.

Они бежали все быстрее. Ветка лиственницы сдернула шапку с головы Алешки, но тому некогда было подымать ее: Макар уже настигал его с яростным криком. Но Алешка всегда был хитрее бедного Макара. Он вдруг остановился, повернулся и нагнул голову. Макар ударился в нее животом и кувыркнулся в снег. Пока он падал, проклятый Алешка схватил с головы Макара шапку и скрылся в тайге.

Макар медленно поднялся. Он чувствовал себя окончательно побитым и несчастным. Нравственное состояние было отвратительно. Лисица была в руках, а теперь... Ему казалось, что в потемневшей чаще она насмешливо вильнула еще раз хвостом и окончательно скрылась.

Потемнело. Белесоватое облачко чуть-чуть виднелось в зените. Оно как будто тихо таяло, и от него, как-то устало и томно, лились еще замиравшие лучи сияния.

По разгоряченному телу Макара бежали целые потоки острых струек талого снега. Снег попал ему в рукава, за воротник соны, стекал по спине, лился за торбаса. Проклятый Алешка унес с собой его шапку. Рукавицы он потерял где-то на бегу. Дело было плохо. Макар знал, что лютый мороз не шутит с людьми, которые уходят в тайгу без рукавиц и без шапки.

Он шел уже долго. По его расчетам он давно должен бы уже выйти из Ямалаха и увидеть колокольню, но он все кружил по тайге. Чаща, точно заколдованная, держала его в своих объятиях. Издали доносился все тот же торжественный звон. Макару казалось, что он идет на него, но звон все удалялся, и, по мере того как его переливы доносились все тише и тише, в сердце Макара вступало тупое отчаяние.

Он устал. Он был подавлен. Ноги подкашивались. Его избитое тело ныло тупою болью. Дыхание в груди захватывало. Руки и ноги коченели. Обнаженную голову стягивало точно раскаленными обручами.

«Пропадать буду, однако!» — все чаще и чаще мелькало у него в голове. Но он все шел.

Тайга молчала. Она только смыкалась за ним с каким-то враждебным упорством и нигде не давала ни просвета, ни надежды.

«Пропадать буду, однако!» — все думал Макар.

Он совсем ослаб. Теперь молодые деревья прямо, без всяких стеснений, били его по лицу, издеваясь над его беспомощным положением. В одном месте на прогалину выбежал белый ушка́н (заяц), сел на задние лапки, повел длинными ушами с черными отметинками на концах и стал умываться, делая Макару самые дерзкие рожи. Он давал ему понять, что он отлично знает его, Макара,— знает, что он и есть тот самый Макар, который настроил в тайге хитрые машины для его, зайца, погибели. Но теперь он над ним издевался.

Макару стало горько. Между тем тайга все оживлялась, но оживлялась враждебно. Теперь даже дальние деревья протягивали длинные ветви на его дорожку и хватали его за волосы, били по глазам, по лицу. Тетерева выходили из тайных логовищ и уставлялись в него любопытными круглыми глазами, а косачи бегали между ними, с распущенными хвостами и сердито оттопыренными крыльями, и громко рассказывали самкам про него, Макара, и про его козни. Наконец, в дальних чащах замелькали тысячи лисьих морд. Они тянули воздух и насмешливо смотрели на Макара, поводя острыми ушами. А зайцы становились перед ним на задние лапки и хохотали, докладывая, что Макар заблудился и не выйдет из тайги.

Это было уже слишком.

«Пропадать буду!» — подумал Макар и решил сделать это немедленно.

Он лег в снег.

Мороз крепчал. Последние переливы сияния слабо мерцали и тянулись по небу, заглядывая к Макару сквозь вершины тайги. Последние отголоски колокола доносились с далекого Чалгана.

Сияние полыхнуло и погасло. Звон стих.

И Макар умер.

V

Как это случилось, он не заметил. Он знал, что из него должно что-то выйти, и ждал, что вот-вот оно выйдет... Но ничего не выходило.

Между тем он сознавал, что уже умер, и потому лежал смирно, без движения. Лежал он долго,— так долго, что ему надоело.

Было совершенно темно, когда Макар почувствовал, что его кто-то толкнул ногою. Он повернул голову и открыл сомкнутые глаза.

Теперь лиственницы стояли над ним смиренные, тихие, точно стыдясь прежних проказ. Мохнатые ели вытягивали свои широкие, покрытые снегом, лапы и тихо-тихо качались. В воздухе так же тихо садились лучистые снежинки.

Яркие добрые звезды заглядывали с синего неба сквозь частые ветви и как будто говорили: «Вот, видите, бедный человек умер».

Над самым телом Макара, толкая его ногою, стоял старый попик Иван. Его длинная ряса была покрыта снегом; снег виднелся на меховом *бергесе* (шапке), на плечах, в длинной бороде попа Ивана. Всего удивительнее было то обстоятельство, что это был тот самый попик Иван, который умер назад тому четыре года.

Это был добрый попик. Он никогда не притеснял Макара насчет руги, никогда не требовал даже денег за требы. Макар сам назначал ему плату за крестины и за молебны и теперь со стыдом вспомнил, что иногда платил маловато, а порой не платил вовсе. Поп Иван и не обижался; ему требовалось одно: всякий раз надо было поставить бутылку водки. Если у Макара не было денег, поп Иван сам посылал за бутылкой, и они пили вместе. Попик напивался непременно до положения риз, но при этом дрался очень редко и не сильно. Макар доставлял его, беспомощного и беззащитного, домой на попечение матушки-попадьи.

Да, это был добрый попик, но умер он нехорошею смертью. Однажды, когда все вышли из дому и пьяный попик остался один лежать на постели, ему вздумалось покурить. Он встал и, шатаясь, подошел к огромному, жарко натопленному камельку, чтобы закурить у огня трубку. Он был слишком уж пьян, покачнулся и упал в огонь. Когда пришли домочадцы, от попа остались лишь ноги.

Все жалели доброго попа Ивана; но так как от него остались одни только ноги, то вылечить его не мог уже ни один доктор в мире. Ноги похоронили, а на место попа Ивана назначили другого.

Теперь этот попик, в целом виде, стоял над Макаром и поталкивал его ногою.

— Вставай, Макарушко,— говорил он.— Пойдем-ка.

— Куда я пойду? — спросил Макар с неудовольствием.

Он полагал, что раз он «пропал», его обязанность — лежать спокойно, и ему нет надобности идти опять по тайге, бродя без дороги. Иначе зачем было ему пропадать?

— Пойдем к *большому Тойону*[1].

— Зачем я пойду к нему? — спросил Макар.

— Он будет тебя судить, — сказал попик скорбным и несколько умиленным голосом.

Макар вспомнил, что действительно после смерти надо идти куда-то на суд. Он это слышал когда-то в церкви. Значит, попик был прав. Приходилось подняться.

И Макар поднялся, ворча про себя, что даже после смерти не дают человеку покоя.

Попик шел впереди, Макар за ним. Шли они все прямо. Лиственницы смиренно сторонились, давая дорогу. Шли на восток.

Макар с удивлением заметил, что после попа Ивана не остается следов на снегу. Взглянув себе под ноги, он также не увидел следов: снег был чист и гладок, как скатерть.

Он подумал, что теперь ему очень удобно ходить по чужим ловушкам, так как никто об этом не может узнать; но попик, угадавший, очевидно, его сокровенную мысль, повернулся к нему и сказал:

— *Кабысь* (брось, оставь)! Ты не знаешь, что тебе достанется за каждую подобную мысль.

— Ну, ну! — ответил недовольно Макар. — Уж нельзя и подумать! Что́ ты нынче такой стал строгий? Молчи ужо́!..

Попик покачал головой и пошел дальше.

— Далеко ли идти? — спросил Макар.

— Далеко, — ответил попик сокрушенно.

— А чего будем есть? — спросил опять Макар с беспокойством.

— Ты забыл, — ответил попик, повернувшись к нему, — что ты умер и что теперь тебе не надо ни есть, ни пить.

Макару это не очень понравилось. Конечно, это хорошо в том случае, когда нечего есть, но тогда уж надо бы лежать так, как он лежал тотчас после своей смерти. А идти, да еще идти далеко, и не есть ничего, это казалось ему ни с чем не сообразным. Он опять заворчал.

---

[1] Тойон — господин, хозяин, начальник.

— Не ропщи! — сказал попик.

— Ладно! — ответил Макар обиженным тоном, но сам продолжал жаловаться про себя и ворчать на дурные порядки: «Человека заставляют ходить, а есть ему не надо! Где это слыхано?»

Он был недоволен все время, следуя за попом. А шли они, по-видимому, долго. Правда, Макар не видел еще рассвета, но, судя по пространству, ему казалось, что они шли уже целую неделю: так много они оставили за собой падей и сопок[1], рек и озер, так много прошли они лесов и равнин. Когда Макар оглядывался, ему казалось, что темная тайга сама убегает от них назад, а высокие снежные горы точно таяли в сумраке ночи и быстро скрывались за горизонтом.

Они как будто поднимались все выше. Звезды становились все больше и ярче. Потом из-за гребня возвышенности, на которую они поднялись, показался краешек давно закатившейся луны. Она как будто торопилась уйти, но Макар с попиком ее нагоняли. Наконец, она вновь стала подыматься над горизонтом. Они пошли по ровному, сильно приподнятому месту.

Теперь стало светло — гораздо светлее, чем при начале ночи. Это происходило, конечно, оттого, что они были гораздо ближе к звездам. Звезды, величиною каждая с яблоко, так и сверкали, а луна, точно дно большой золотой бочки, сияла, как солнце, освещая равнину от края и до края.

На равнине совершенно явственно виднелась каждая снежинка. По ней пролегало множество дорог, и все они сходились к одному месту на востоке. По дорогам шли и ехали люди в разных одеждах и разного вида.

Вдруг Макар, внимательно всматривавшийся в одного всадника, свернул с дороги и побежал за ним.

— Постой, постой! — кричал попик, но Макар даже не слышал. Он узнал знакомого татарина, который шесть лет назад увел у него пегого коня, а пять лет назад скончался. Теперь татарин ехал на том же пегом коне. Конь так и взвивался. Из-под копыт его летели целые тучи снежной пыли, сверкавшей разноцветными переливами звездных лучей. Макар удивился при виде этой бешеной скачки, как мог он, пеший, так легко догнать

---

[1] **Падь — ущелье, овраг между горами; сопка — остроконечная гора.**

конного татарина. Впрочем, завидев Макара в нескольких шагах, татарин с большою готовностью остановился. Макар запальчиво напал на него.

— Пойдем к старосте,— кричал он,— это мой конь. Правое ухо у него разрезано... Смотри, какой ловкий!.. Едет на чужом коне, а хозяин идет пешком, точно нищий.

— Постой!— сказал на это татарин.— Не надо к старосте. Твой конь, говоришь?.. Ну, и бери его! Проклятая животина! Пятый год еду на ней, и все как будто ни с места... Пешие люди то и дело обгоняют меня; хорошему татарину даже стыдно.

И он занес ногу, чтобы сойти с седла, но в это время запыхавшийся попик подбежал к ним и схватил Макара за руку.

— Несчастный!— вскричал он.— Что ты делаешь? Разве не видишь, что татарин хочет тебя обмануть?

— Конечно, обманывает,— вскричал Макар, размахивая руками,— конь был хороший, настоящая хозяйская лошадь... Мне давали за нее сорок рублей еще по третьей траве... Не-ет, брат! Если ты испортил коня, я его зарежу на мясо, а ты заплатишь мне чистыми деньгами. Думаешь, что — татарин, так и нет на тебя управы?

Макар горячился и кричал нарочно, чтобы собрать вокруг себя побольше народу, так как он привык бояться татар. Но попик остановил его.

— Тише, тише, Макар! Ты все забываешь, что ты уже умер... Зачем тебе конь? Да, притом, разве ты не видишь, что пешком ты подвигаешься гораздо быстрее татарина? Хочешь, чтоб тебе пришлось ехать целых тысячу лет?

Макар смекнул, почему татарин так охотно уступал ему лошадь.

«Хитрый народ!» — подумал он и обратился к татарину:

— Ладно ужó! Поезжай на коне, а я, брат, сделаю на тебя прошение.

Татарин сердито нахлобучил шапку и хлестнул коня. Конь взвился, клубы снега посыпались из-под копыт, но пока Макар с попом не тронулись, татарин не уехал от них и пяди.

Он сердито плюнул и обратился к Макару:

— Послушай, *догóр* (приятель), нет ли у тебя листочка махорки? Страшно хочется курить, а свой табак я выкурил уже четыре года назад.

— Собака тебе приятель, а не я!— сердито ответил

Макар.— Видишь ты: украл коня и просит табаку! Пропадай ты совсем, мне и то не будет жалко.

И с этими словами Макар тронулся далее.

— А ведь напрасно ты не дал ему листок махорки,— сказал ему поп Иван.— За это на суде Тойон простил бы тебе не менее сотни грехов.

— Так что ж ты не сказал мне этого ранее?— огрызнулся Макар.

— Да уж теперь поздно учить тебя. Ты должен был узнать об этом от своих попов при жизни.

Макар осердился. От попов он не видал никакого толку: получают ругу, а не научили даже, когда надо дать татарину листок табаку, чтобы получить отпущение грехов. Шутка ли: сто грехов... и всего за один листочек!.. Это ведь чего-нибудь сто́ит!

— Постой,— сказал он.— Будет с нас одного листочка, а остальные четыре я отдам сейчас татарину. Это будет четыре сотни грехов.

— Оглянись,— сказал попик.

Макар оглянулся. Сзади расстилалась только белая пустынная равнина. Татарин мелькнул на одну секунду далекою точкой. Макару казалось, что он увидел, как белая пыль летит из-под копыт его пегашки, но через секунду и эта точка исчезла.

— Ну, ну,— сказал Макар.— Будет татарину и без табаку ладно. Видишь ты: испортил коня, проклятый!

— Нет,— сказал попик,— он не испортил твоего коня, но конь этот краденый. Разве ты не слышал от стариков, что на краденом коне далеко не уедешь?

Макар действительно слышал это от стариков, но так как во время своей жизни видел нередко, что татары уезжали на краденых конях до самого города, то, понятно, он старикам не давал веры. Теперь же он пришел к убеждению, что и старики говорят иногда правду.

И он стал обгонять на равнине множество всадников. Все они мчались так же быстро, как и первый. Кони летели, как птицы, всадники были в поту, а между тем Макар то и дело обгонял их и оставлял за собою.

Большею частью это были татары, но попадались и коренные чалганцы; некоторые из последних сидели на краденых быках и подгоняли их талинками.

Макар смотрел на татар враждебно и каждый раз ворчал, что этого им еще мало. Когда же он встречался с чалганцами, то останавливался и благодушно беседовал

с ними: все-таки это были приятели, хоть и воры. Порой он даже выражал свое участие тем, что, подняв на дороге талинку, усердно подгонял сзади быков и коней; но лишь только сам он делал несколько шагов, как уже всадники оставались сзади чуть заметными точками.

Равнина казалась бесконечною. Они то и дело обгоняли всадников и пеших людей, а между тем вокруг все казалось пусто. Между каждыми двумя путниками лежали как будто целые сотни или даже тысячи верст.

Между другими фигурами Макару попался незнакомый старик; он был, очевидно, чалганец; это было видно по лицу, по одежде, даже по походке, но Макар не мог припомнить, чтоб он когда-либо прежде его видел. На старике была рваная сона, большой ухастый бергес, тоже рваный, кожаные старые штаны и рваные телячьи торбаса́. Но, что хуже всего,— несмотря на свою старость — он тащил на плечах еще более древнюю старуху, ноги которой волочились по земле. Старик трудно дышал, заплетался и тяжело налегал на палку. Макару стало его жалко. Он остановился. Старик остановился тоже.

— *Капсе́* (говори)!— сказал Макар приветливо.

— Нет,— ответил старик.

— Что слышал?

— Ничего не слыхал.

— Что видел?

— Ничего не видал.

Макар помолчал немного и тогда уже счел возможным расспросить старика, кто он и откуда плетется.

Старик назвался. Давно уже,— сам он не знает, сколько лет назад,— он оставил Чалган и ушел на «гору» спасаться. Там он ничего не делал, ел только морошку и корни, не пахал, не сеял, не молол на жернове хлеба и не платил податей. Когда он умер, то пришел к Тойону на суд. Тойон спросил, кто он и что делал. Он рассказал, что ушел на «гору» и спасался. «Хорошо,— сказал Тойон,— а где же твоя старуха? Поди, приведи сюда твою старуху». И он пошел за старухой, а старуха перед смертью побиралась, и ее некому было кормить, и у нее не было ни дома, ни коровы, ни хлеба. Она ослабела и не может волочить ног. И он теперь должен тащить к Тойону старуху на себе.

Старик заплакал, а старуха ударила его ногою, точно быка, и сказала слабым, но сердитым голосом:

— Неси!

Макару стало еще более жаль старика, и он порадовался от души, что ему не удалось уйти на «гору». Его старуха была громадная, рослая старуха, и ему нести ее было бы еще труднее. А если бы, вдобавок, она стала пинать его ногою, как быка, то, наверное, скоро заездила бы до второй смерти.

Из сожаления он взял было старуху за ноги, чтобы помочь догóру, но едва сделал два-три шага, как должен был быстро выпустить старухины ноги, чтоб они не остались у него в руках. В одну минуту старик с своей ношей исчезли из виду.

В дальнейшем пути не встречалось более лиц, которых Макар удостоил бы своим особенным вниманием. Тут были воры, нагруженные, как вьючная скотина, краденым добром и подвигавшиеся шаг за шагом; толстые якутские тойоны тряслись, сидя на высоких седлах, точно башни, задевая за облака высокими шапками. Тут же, рядом, вприпрыжку бежали бедные *комночиты* (работники), поджарые и легкие, как зайцы. Шел мрачный убийца, весь в крови, с дико блуждающим взором. Напрасно кидался он в чистый снег, чтобы смыть кровавые пятна. Снег мгновенно обагрялся кругом, как кипень, а пятна на убийце выступали яснее, и в его взоре виднелись дикое отчаяние и ужас. И он все шел, избегая чужих испуганных взглядов.

А маленькие детские души то и дело мелькали в воздухе, точно птички. Они летели большими стаями, и Макара это не удивляло. Дурная, грубая пища, грязь, огонь камельков и холодные сквозняки юрт выживали их из одного Чалгана чуть не сотнями. Поравнявшись с убийцей, они испуганной стаей кидались далеко в сторону, и долго еще после того слышался в воздухе быстрый, тревожный звон их маленьких крыльев.

Макар не мог не заметить, что он подвигался сравнительно с другими довольно быстро, и поспешил приписать это своей добродетели.

— Слушай, *агабыт* (отец),— сказал он,— как ты думаешь? Я хоть и любил при жизни выпить, а человек был хороший. Бог меня любит...

Он пытливо взглянул на попа Ивана. У него была задняя мысль: выведать кое-что от старого попика. Но тот сказал кратко:

— Не гордись! Уже близко. Скоро узнаешь сам.

Макар и не заметил раньше, что на равнине как будто

стало светать. Прежде всего, из-за горизонта выбежали несколько светлых лучей. Они быстро пробежали по небу и потушили яркие звезды. И звезды погасли, а луна закатилась. И снежная равнина потемнела.

Тогда над нею поднялись туманы и стали кругом равнины, как почетная стража.

И в одном месте, на востоке, туманы стали светлее, точно воины, одетые в золото.

И потом туманы заколыхались, золотые воины наклонились долу.

И из-за них вышло солнце, и стало на их золотистых хребтах, и оглянуло равнину.

И равнина вся засияла невиданным, ослепительным светом.

И туманы торжественно поднялись огромным хороводом, разорвались на западе и, колеблясь, понеслись кверху.

И Макару казалось, что он слышит чудную песню. Это была как будто та самая, давно знакомая песня, которою земля каждый раз приветствует солнце. Но Макар никогда еще не обращал на нее должного внимания и только в первый раз понял, какая это чудная песня.

Он стоял и слушал и не хотел идти далее, а хотел вечно стоять здесь и слушать . . . .
. . . .

Но поп Иван тронул его за рукав.

— Войдем,— сказал он.— Мы пришли.

Тогда Макар увидел, что они стоят у большой двери, которую раньше скрывали туманы.

Ему очень не хотелось идти, но — делать нечего — он повиновался.

VI

Они вошли в хорошую, просторную избу, и, только войдя сюда, Макар заметил, что на дворе был сильный мороз. Посредине избы стоял камелек чудной резной работы, из чистого серебра, и в нем пылали золотые поленья, давая ровное тепло, сразу проникавшее все тело. Огонь этого чудного камелька не резал глаз, не жег, а только грел, и Макару опять захотелось вечно стоять здесь и греться. Поп Иван также подошел к камельку и протянул к нему иззябшие руки.

В избе было четверо дверей, из которых только одна вела наружу, а в другие то и дело входили и выходили

какие-то молодые люди в длинных белых рубахах. Макар подумал, что это, должно быть, работники здешнего Тойона. Ему казалось, что он где-то их уже видел, но не мог вспомнить, где именно. Немало удивляло его то обстоятельство, что у каждого работника на спине болтались большие белые крылья, и он подумал, что, вероятно, у Тойона есть еще другие работники, так как эти, наверное, не могли бы с своими крыльями пробираться сквозь чащу тайги для рубки дров или жердей.

Один из работников подошел тоже к камельку и, повернувшись к нему спиною, заговорил с попом Иваном:

— Говори!

— Нечего,— отвечал попик.

— Что ты слышал на свете?

— Ничего не слыхал.

— Что видел?

— Ничего не видал.

Оба помолчали, и тогда поп сказал:

— Привел вот одного.

— Это чалганец?— спросил работник.

— Да, чалганец.

— Ну, значит, надо приготовить большие весы.

И он ушел в одну из дверей, чтобы распорядиться, а Макар спросил у попа, зачем нужны весы и почему именно большие?

— Видишь,— ответил поп несколько смущенно,— весы нужны, чтобы взвесить добро и зло, какое ты сделал при жизни. У всех остальных людей зло и добро приблизительно уравновешивают чашки; у одних чалганцев грехов так много, что для них Тойон велел сделать особые весы с громадной чашкой для грехов.

От этих слов у Макара как будто скребнуло по сердцу. Он стал робеть.

Работники внесли и поставили большие весы. Одна чашка была золотая и маленькая, другая — деревянная, громадных размеров. Под последней вдруг открылось глубокое черное отверстие.

Макар подошел и тщательно осмотрел весы, чтобы не было фальши. Но фальши не было. Чашки стояли ровно, не колеблясь.

Впрочем, он не вполне понимал их устройство и предпочел бы иметь дело с безменом, на котором в течение долгой жизни он отлично выучился и продавать, и покупать с некоторой выгодой для себя.

— Тойон идет,— сказал вдруг поп Иван и стал быстро обдергивать ряску.

Средняя дверь отворилась, и вошел старый-престарый Тойон, с большою серебристою бородой, спускавшеюся ниже пояса. Он был одет в богатые, неизвестные Макару меха и ткани, а на ногах у него были теплые сапоги, обшитые плисом, какие Макар видел на старом иконописце.

И при первом же взгляде на старого Тойона Макар узнал, что это тот самый старик, которого он видел нарисованным в церкви. Только тут с ним не было сына; Макар подумал, что, вероятно, последний ушел по хозяйству. Зато голубь влетел в комнату и, покружившись у старика над головою, сел к нему на колени. И старый Тойон гладил голубя рукою, сидя на особо приготовленном для него стуле.

Лицо старого Тойона было доброе, и, когда у Макара становилось слишком уж тяжело на сердце, он смотрел на это лицо, и ему становилось легче.

А на сердце у него становилось тяжело потому, что он вспомнил вдруг всю свою жизнь до последних подробностей, вспомнил каждый свой шаг, и каждый удар топора, и каждое срубленное дерево, и каждый обман, и каждую рюмку выпитой водки.

И ему стало стыдно и страшно. Но, взглянув в лицо старого Тойона, он ободрился.

А ободрившись, подумал, что, быть может, кое-что удастся и скрыть.

Старый Тойон посмотрел на него и спросил, кто он и откуда, и как зовут, и сколько ему лет от роду.

Когда Макар ответил, старый Тойон спросил:

— Что сделал ты в своей жизни?

— Сам знаешь,— ответил Макар.— У тебя должно быть записано.

Макар испытывал старого Тойона, желая узнать, действительно ли у него записано все.

— Говори сам, не молчи!— сказал старый Тойон.

И Макар опять ободрился.

Он стал перечислять свои работы, и хотя он помнил каждый удар топора, и каждую срубленную жердь, и каждую борозду, проведенную сохою, но он прибавлял целые тысячи жердей, и сотни возов дров, и сотни бревен, и сотни пудов посева.

Когда он все перечислил, старый Тойон обратился к попу Ивану:

— Принеси-ка сюда книгу.

Тогда Макар увидел, что поп Иван служит у Тойона *суруксутом* (писарем), и очень осердился, что тот по-приятельски не сказал ему об этом раньше.

Поп Иван принес большую книгу, развернул ее и стал читать.

— Загляни-ка,— сказал старый Тойон,— сколько жердей?

Поп Иван посмотрел и сказал с прискорбием:

— Он прибавил целых тринадцать тысяч.

— Врет он!— крикнул Макар запальчиво.— Он, верно, ошибся, потому что он пьяница и умер нехорошею смертью!

— Замолчи ты!— сказал старый Тойон.— Брал ли он с тебя лишнее за крестины или за свадьбы? Вымогал ли он ругу?

— Что́ говорить напрасно!— ответил Макар.

— Вот видишь,— сказал Тойон,— я знаю и сам, что он любил выпить...

И старый Тойон осердился.

— Читай теперь его грехи по книге, потому что он обманщик, и я ему не верю,— сказал он попу Ивану.

А между тем работники кинули на золотую чашку Макаровы жерди, и его дрова, и его пахоту, и всю его работу. И всего оказалось так много, что золотая чашка весов опустилась, а деревянная поднялась высоко-высоко, и ее нельзя было достать руками, и молодые божьи работники взлетели на своих крыльях, и целая сотня тянула ее веревками вниз.

Тяжела была работа чалганца!

А поп Иван стал вычитывать обманы, и оказалось, что обманов было — двадцать одна тысяча девятьсот тридцать три обмана; и поп стал вычитывать, сколько Макар выпил бутылок водки, и оказалось — четыреста бутылок; и поп читал далее, а Макар видел, что деревянная чашка весов перетягивает золотую и что она опускается уже в яму, и пока поп читал, она все опускалась.

Тогда Макар подумал про себя, что дело его плохо, и, подойдя к весам, попытался незаметно поддержать чашку ногою. Но один из работников увидел это, и у них вышел шум.

— Что там такое?— спросил старый Тойон.

— Да вот он хотел поддержать весы ногою,— ответил работник.

Тогда Тойон гневно обратился к Макару и сказал:

— Вижу, что ты обманщик, ленивец и пьяница... И за тобой осталась недоимка, и поп за тобою считает ругу, и исправник грешит из-за тебя, ругая тебя каждый раз скверными словами!..

И, обратясь к попу Ивану, старый Тойон спросил:

— Кто в Чалгане кладет на лошадей более всех клади и кто гоняет их всех больше?

Поп Иван ответил:

— Церковный трапезник. Он гоняет почту и возит исправника.

Тогда старый Тойон сказал:

— Отдать этого ленивца трапезнику в мерины, и пусть он возит на нем исправника, пока не заездит... А там мы посмотрим.

И только что старый Тойон сказал это слово, как дверь отворилась и в избу вошел сын старого Тойона и сел от него по правую руку.

И сын сказал:

— Я слышал твой приговор... Я долго жил на свете и знаю тамошние дела: тяжело будет бедному человеку возить исправника! Но... да будет!.. Только, может быть, он еще что-нибудь скажет. Говори, *барахсáн* (бедняга)!

Тогда случилось что-то странное. Макар, тот самый Макар, который никогда в жизни не произносил более десяти слов кряду, вдруг ощутил в себе дар слова. Он заговорил и сам изумился. Стало как бы два Макара: один говорил, другой слушал и удивлялся. Он не верил своим ушам. Речь у него лилась плавно и страстно, слова гнались одно за другим вперегонку и потом становились длинными, стройными рядами. Он не робел. Если ему и случалось запнуться, то тотчас же он оправлялся и кричал вдвое громче. А главное — чувствовал сам, что говорил убедительно.

Старый Тойон, немного осердившийся сначала за его дерзость, стал потом слушать с большим вниманием, как бы убедившись, что Макар не такой уж дурак, каким казался сначала. Поп Иван в первую минуту даже испугался и стал дергать Макара за полу соны, но Макар отмахнулся и продолжал по-прежнему. Потом и попик перестал пугаться и даже расцвел улыбкой, видя, что его прихожанин режет правду и что эта правда приходится по сердцу старому Тойону. Даже молодые люди в длинных рубахах и с белыми крыльями, жившие у старого

Тойона в работниках, приходили из своей половины к дверям и с удивлением слушали речь Макара, поталкивая друг друга локтями.

Он начал с того, что не желает идти к трапезнику в мерины. И не потому не желает, что боится тяжелой работы, а потому, что это решение неправильно. А так как это решение неправильно, то он ему не подчинится и не поведет даже ухом, не двинет ногою. Пусть с ним делают, что хотят! Пусть даже отдадут чертям в вечные комночиты,— он не будет возить исправника, потому что это неправильно. И пусть не думают, что ему страшно положение мерина: трапезник гоняет мерина, но кормит его овсом, а его гоняли всю жизнь, но овсом никогда не кормили.

— Кто тебя гонял?— спросил старый Тойон с сердцем.

Да, его гоняли всю жизнь! Гоняли старосты и старшины, заседатели и исправники, требуя подати; гоняли попы, требуя ругу; гоняли нужда и голод; гоняли морозы и жары, дожди и засухи; гоняла промерзшая земля и злая тайга!.. Скотина идет вперед и смотрит в землю, не зная, куда ее гонят... И он также... Разве он знал, что́ поп читает в церкви и за что идет ему руга? Разве он знал, зачем и куда увели его старшего сына, которого взяли в солдаты, и где он умер, и где теперь лежат его бедные кости?

Говорят, он пил много водки? Конечно, это правда: его сердце просило водки...

— Сколько, говоришь ты, бутылок?

— Четыреста,— ответил поп Иван, заглянув в книгу.

Хорошо! Но разве это была водка? Три четверти было воды и только одна четверть настоящей водки, да еще настой табаку. Стало быть, триста бутылок надо скинуть со счета.

— Правду ли он говорит все это?— спросил старый Тойон у попа Ивана, и видно было, что он еще сердится.

— Чистую правду,— торопливо ответил поп, а Макар продолжал.

Он прибавил тринадцать тысяч жердей? Пусть так! Пусть он нарубил только шестнадцать тысяч. А разве этого мало? И, притом, две тысячи он рубил, когда у него была больна первая его жена... И у него было тяжело на сердце, и он хотел сидеть у своей старухи, а нужда его гнала в тайгу... И в тайге он плакал, и слезы мерзли у него

на ресницах, и от горя холод проникал до самого сердца... А он рубил!

А после баба умерла. Ее надо было хоронить, а у него не было денег. И он нанялся рубить дрова, чтобы заплатить за женин дом на том свете... А купец увидел, что ему нужда, и дал только по десяти копеек... И старуха лежала одна в нетопленной мерзлой избе, а он опять рубил и плакал. Он полагал, что эти возы надо считать впятеро и даже более.

У старого Тойона показались на глазах слезы, и Макар увидел, что чашки весов колыхнулись, и деревянная приподнялась, а золотая опустилась.

А Макар продолжал: у них все записано в книге... Пусть же они поищут: когда он испытал от кого-нибудь ласку, привет или радость? Где его дети? Когда они умирали, ему было горько и тяжко, а когда вырастали, то уходили от него, чтобы в одиночку биться с тяжелою нуждой. И он состарился один со своей второю старухой и видел, как его оставляют силы и подходит злая, бесприютная дряхлость. Они стояли одинокие, как стоят в степи две сиротливые елки, которых бьют отовсюду жестокие метели.

— Правда ли? — спросил опять старый Тойон.

И поп поспешил ответить:

— Чистая правда!

И тогда весы опять дрогнули... Но старый Тойон задумался.

— Что же это, — сказал он, — ведь есть же у меня на земле настоящие праведники... Глаза их ясны, и лица светлы, и одежды без пятен... Сердца их мягки, как добрая почва; принимают доброе семя и возвращают крин сельный и благовонные всходы, запах которых угоден передо мною. А ты посмотри на себя...

И все взгляды устремились на Макара, и он устыдился. Он почувствовал, что глаза его мутны и лицо темно, волосы и борода всклокочены, одежда изорвана. И хотя задолго до смерти он все собирался купить сапоги, чтобы явиться на суд, как подобает настоящему крестьянину, но все пропивал деньги и теперь стоял перед Тойоном, как последний якут, в дрянных торбасишках... И он пожелал провалиться сквозь землю.

— Лицо твое темное, — продолжал старый Тойон, — глаза мутные и одежда разорвана. А сердце твое поросло бурьяном, и терние, и горькою полынью. Вот почему я

люблю моих праведных и отвращаю лицо от подобных тебе нечестивцев.

Сердце Макара сжалось. Он чувствовал стыд собственного существования. Он было понурил голову, но вдруг поднял ее и заговорил опять.

— О каких это праведниках говорит Тойон? Если о тех, что жили на земле в одно время с Макаром в богатых хоромах, то Макар их знает... Глаза их ясны, потому что не проливали слез столько, сколько их пролил Макар, и лица их светлы, потому что обмыты духами, а чистые одежды сотканы чужими руками.

Макар опять понурил голову, но тотчас же опять поднял ее.

А между тем, разве он не видит, что и он родился, как другие,— с ясными, открытыми очами, в которых отражались земля и небо, и с чистым сердцем, готовым раскрыться на все прекрасное в мире? И если теперь он желает скрыть под землею свою мрачную и позорную фигуру, то в этом вина не его... А чья же?— Этого он не знает... Но он знает одно, что в сердце его истощилось терпение.

VII

Конечно, если бы Макар мог видеть, какое действие производила его речь на старого Тойона, если б он видел, что каждое его гневное слово падало на золотую чашку, как свинцовая гиря, он усмирил бы свое сердце. Но он всего этого не видел, потому что в его сердце вливалось слепое отчаяние.

Вот он оглядел всю свою горькую жизнь. Как мог он до сих пор выносить это ужасное бремя? Он нес его потому, что впереди все еще маячила — звездочкой в тумане — надежда. Он жив, стало быть, может, должен еще испытать лучшую долю... Теперь он стоял у конца, и надежда угасла...

Тогда в его душе стало темно, и в ней забушевала ярость, как буря в пустой степи глухою ночью. Он забыл, где он, пред чьим лицом предстоит,— забыл все, кроме своего гнева...

. . . .

Но старый Тойон сказал ему:

— Погоди, барахсан! Ты не на земле... Здесь и для тебя найдется правда...

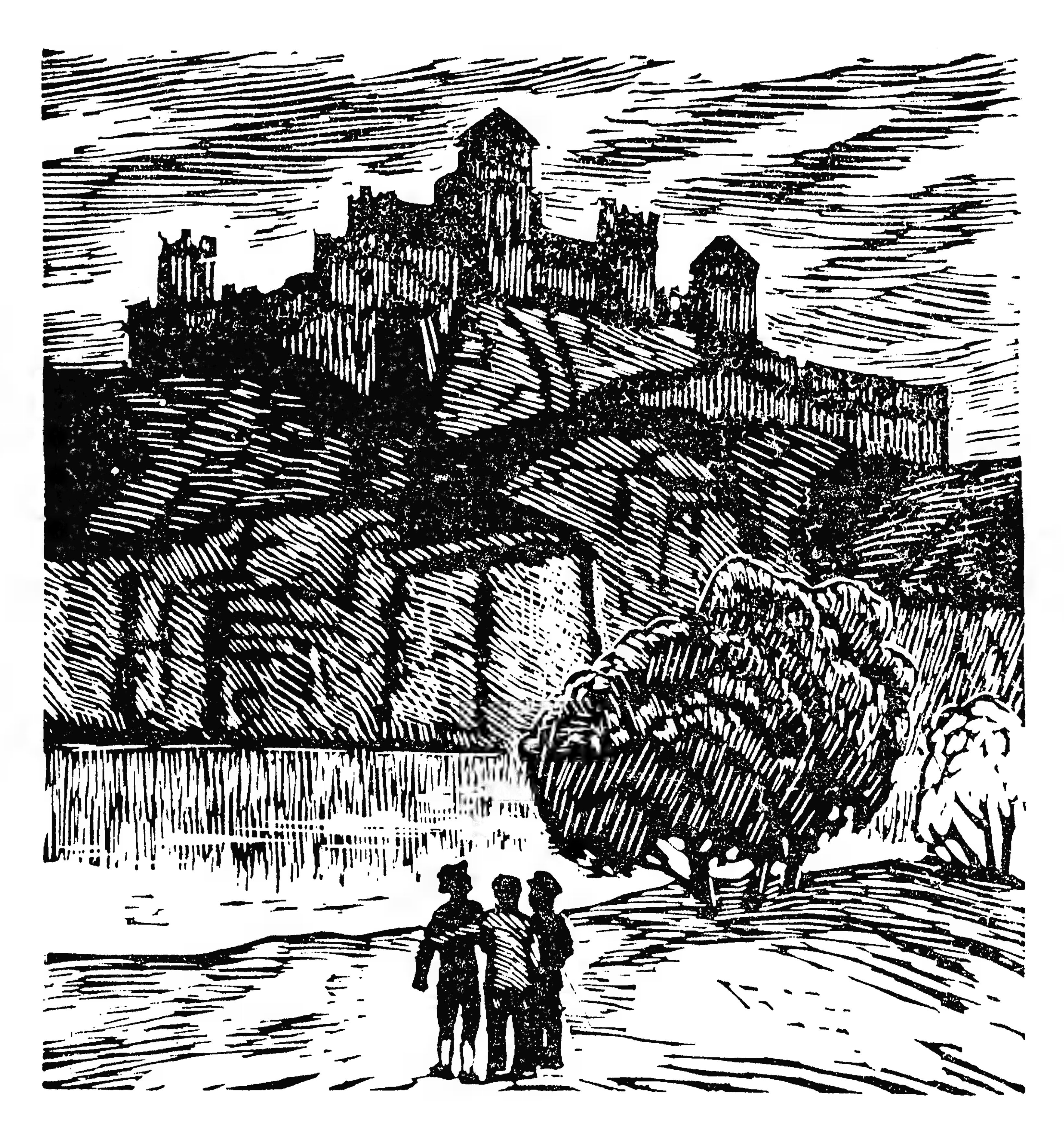
3 Заказ 167

И Макар дрогнул. На сердце его пало сознание, что его жалеют, и оно смягчилось; а так как перед его глазами все стояла его бедная жизнь, от первого дня до последнего, то и ему стало самого себя невыносимо жалко. И он заплакал...

И старый Тойон тоже плакал... И плакал старый попик Иван, и молодые божьи работники лили слезы, утирая их широкими белыми рукавами.

А весы все колыхались, и деревянная чашка подымалась все выше и выше! . . . .
. . . .

1883



В ДУРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Из детских воспоминаний моего приятеля

I. РАЗВАЛИНЫ

Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо в поле,— никто не окружал меня особенною заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы.

Местечко, где мы жили, называлось Княжье-Вено, или, проще, Княж-городок. Оно принадлежало одному захуда-

лому, но гордому польскому роду и представляло все типические черты любого из мелких городов Юго-западного края, где, среди тихо струящейся жизни тяжелого труда и мелко-суетливого еврейского гешефта, доживают свои печальные дни жалкие останки гордого панского величия.

Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу над сонными, заплесневшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционною «заставой». Сонный инвалид, порыжелая на солнце фигура, олицетворение безмятежной дремоты, лениво поднимает шлагбаум, и — вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах темными воротами еврейских «заезжих домов», казенные учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колесами и шатается, точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, лавчонками, столами евреев-менял, сидящих под зонтами на тротуарах, и с навесами калачниц. Вонь, грязь, кучи ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот еще минута, и — вы уже за городом. Тихо шепчутся березы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылою, бесконечною песней в проволоках придорожного телеграфа.

Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие густые камыши волновались, как море, на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове — старый, полуразрушенный за́мок.

Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно, руками пленных турок. «На костях человеческих стоит старое замчи́ще»,— передавали ста-

рожилы, и мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От этого, понятно, замок казался еще страшнее, и даже в ясные дни, когда, бывало, ободренные светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса,— так страшно глядели черные впадины давно выбитых окон; в пустых залах ходил таинственный шорох: камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо, и мы бежали без оглядки, а за нами долго еще стояли стук, и топот, и гоготанье.

А в бурные осенние ночи, когда гиганты-тополи качались и гудели от налетавшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка и царил над всем городом. «Ой-вей-мир!»[1] — пугливо произносили евреи; богобоязненные старые мещанки крестились, и даже наш ближайший сосед, кузнец, отрицавший самое существование бесовской силы, выходя в эти часы на свой дворик, творил крестное знамение и шептал про себя молитву об упокоении усопших.

Старый, седобородый Януш, за неимением квартиры приютившийся в одном из подвалов замка, рассказывал нам не раз, что в такие ночи он явственно слышал, как из-под земли неслись крики. Турки начинали возиться под островом, стучали костями и громко укоряли панов в жестокости. Тогда в залах старого замка и вокруг него на острове брякало оружие и паны громкими криками сзывали гайдуков. Януш слышал совершенно ясно, под рев и завывание бури, топот коней, звяканье сабель, слова команды. Однажды он слышал даже, как покойный прадед нынешних графов, прославленный на вечные веки своими кровавыми подвигами, выехал, стуча копытами своего аргамака, на середину острова и неистово ругался: «Молчите там, лайдаки[2], пся вяра!»

Потомки этого графа давно уже оставили жилище предков. Большая часть дукатов и всяких сокровищ, от которых прежде ломились сундуки графов, перешла за мост, в еврейские лачуги, и последние представители славного рода выстроили себе прозаическое белое здание

---

[1] О, горе мне! *(евр.)*.— *Ред.*

[2] Бездельники *(пол.)*.— *Ред.*

на горе, подальше от города. Там протекало их скучное, но все же торжественное существование в презрительно-величавом уединении.

Изредка только старый граф, такая же мрачная развалина, как и за́мок на острове, появлялся в городе на своей старой английской кляче. Рядом с ним, в черной амазонке, величавая и сухая, проезжала по городским улицам его дочь, а сзади почтительно следовал шталмейстер. Величественной графине суждено было навсегда остаться девой. Равные ей по происхождению женихи, в погоне за деньгами купеческих дочек за границей, малодушно рассеялись по свету, оставив родовые за́мки или продав их на слом евреям, а в городишке, расстилавшемся у подножия ее дворца, не было юноши, который бы осмелился поднять глаза на красавицу графиню. Завидев этих трех всадников, мы, малые ребята, как стая птиц, снимались с мягкой уличной пыли и, быстро рассеявшись по дворам, испуганно-любопытными глазами следили за мрачными владельцами страшного за́мка.

В западной стороне, на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная униатская часовня. Это была родная дочь расстилавшегося в долине собственно обывательского города. Некогда в ней собирались, по звону колокола, горожане в чистых, хотя и не роскошных кунтушах, с палками в руках, вместо сабель, которыми гремела мелкая шляхта, тоже являвшаяся на зов звонкого униатского колокола из окрестных деревень и хуторов.

Отсюда был виден остров и его темные громадные тополи, но за́мок сердито и презрительно закрывался от часовни густою зеленью, и только в те минуты, когда юго-западный ветер вырывался из-за камышей и налетал на остров, тополи гулко качались, и из-за них проблескивали окна, и за́мок, казалось, кидал на часовню угрюмые взгляды. Теперь и он, и она были трупы. У него глаза потухли, и в них не сверкали отблески вечернего солнца; у нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и, вместо гулкого, с высоким тоном, медного колокола, совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни.

Но старая, историческая рознь, разделявшая некогда гордый панский за́мок и мещанскую униатскую часовню, продолжалась и после их смерти: ее поддерживали копошившиеся в этих дряхлых трупах черви, занимавшие

уцелевшие углы подземелья, подвалы. Этими могильными червями умерших зданий были люди.

Было время, когда старый зáмок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Все, что не находило себе места в городе, всякое выскочившее из колеи существование, потерявшее, по той или другой причине, возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду,— все это тянулось на остров и там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенными под грудами старого мусора. «Живет в зáмке» — эта фраза стала выражением крайней степени нищеты и гражданского падения. Старый зáмок радушно принимал и покрывал и перекатную голь, и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти существа терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили, чем-то питались,— вообще, отправляли неизвестным образом свои жизненные функции.

Однако настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых руин, возникло разделение, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских «официалистов», выхлопотал себе нечто вроде владетельной хартии и захватил бразды правления. Он приступил к преобразованиям, и несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось, уж не турки ли вырвались из подземных темниц, чтоб отомстить утеснителям. Это Януш сортировал население развалин, отделяя овец от козлищ. Овцы, оставшиеся по-прежнему в зáмке, помогали Янушу изгонять несчастных козлищ, которые упирались, выказывая отчаянное, но бесполезное сопротивление. Когда, наконец, при молчаливом, но, тем не менее, довольно существенном содействии будочника, порядок вновь водворился на острове, то оказалось, что переворот имел решительно аристократический характер. Януш оставил в зáмке только «добрых христиан», то есть католиков, и притом преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были все какие-то старики в потертых сюртуках и «чамарках», с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи, крикливые и безобразные, но сохранившие на последних ступенях обнищания свои капоры и салопы. Все они

составляли однородный, тесно сплоченный аристократический кружок, взявший как бы монополию признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили, с молитвой на устах, по домам более зажиточных горожан и среднего мещанства, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и клянча, а по воскресеньям они же составляли почтеннейших лиц из той публики, что длинными рядами выстраивалась около костелов и величественно принимала подачки во имя «пана Иисуса» и «панны Богоматери».

Привлеченные шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш, во главе целой армии красноносых старцев и безобразных мегер, гнал из за́мка последних, подлежавших изгнанию жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные темные личности, запахиваясь изорванными донельзя лохмотьями, испуганные, жалкие и сконфуженные, совались по острову, точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий за́мка. Но Януш и мегеры с криком и ругательствами гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками, а в стороне стоял молчаливый будочник, тоже с увесистою дубиной в руках, сохранявший вооруженный нейтралитет, очевидно, дружественный торжествующей партии. И несчастные темные личности поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров, и одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера.

С этого памятного вечера и Януш, и старый за́мок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров и хотя издали любоваться его серыми стенами и замшенною старою крышей. Когда на утренней заре из него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, кашлявшие и крестившиеся на солнце, я и на них смотрел с каким-то уважением, как на существа, облеченные тою же таинственностью, которою был окутан весь за́мок. Они спят там ночью, они слышат все, что там происходит, когда в огромные залы сквозь выбитые окна заглядывает луна или когда в бурю в них врывается ветер. Я любил слу-

шать, когда, бывало, Януш, усевшись под тополями, с болтливостью семидесятилетнего старика начинал рассказывать о славном прошлом умершего здания. Перед детским воображением вставали, оживая, образы прошедшего, и в душу веяло величавою грустью и смутным сочувствием к тому, чем жили некогда понурые стены, и романтические тени чужой старины пробегали в юной душе, как пробегают в ветреный день легкие тени облаков по светлой зелени чистого поля.

Но с того вечера и за́мок, и его бард явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь «сын таких почтенных родителей» смело может посетить за́мок, так как найдет в нем вполне порядочное общество. Он даже привел меня за руку к самому за́мку, но тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. За́мок стал мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены, а низ находился во владении капоров и салопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно, ругались между собой так громко, что я искренно удивлялся, как это строгий покойник, усмирявший турок в грозовые ночи, мог терпеть этих старух в своем соседстве. Но главное — я не мог забыть холодной жестокости, с которою торжествующие жильцы за́мка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце.

Как бы то ни было, на примере старого за́мка я узнал впервые истину, что от великого до смешного один только шаг. Великое в за́мке поросло плющом, повиликой и мхами, а смешное казалось мне отвратительным, слишком резало детскую восприимчивость, так как ирония этих контрастов была мне еще недоступна.

II. ПРОБЛЕМАТИЧЕСКИЕ НАТУРЫ

Несколько дней после описанного переворота на острове город провел очень беспокойно: лаяли собаки, скрипели двери домов, и обыватели, то и дело выходя на улицу, стучали палками по заборам, давая кому-то знать, что они настороже. Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут; понимая,

что в сердцах этих людей должны рождаться жестокие чувства, город насторожился и навстречу этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь, как нарочно, спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землею низко бегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастья, качая верхушки деревьев, стуча ставнями и напевая мне в моей постели о десятках людей, лишенных тепла и приюта.

Но вот весна окончательно восторжествовала над последними порывами зимы, солнце высушило землю, и вместе с тем бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачий лай по ночам угомонился, обыватели перестали стучать по заборам, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своею колеей. Горячее солнце, выкатываясь на небо, жгло пыльные улицы, загоняя под навесы юрких детей Израиля, торговавших в городских лавках; «факторы» лениво валялись на солнцепеке, зорко выглядывая проезжающих; скрип чиновничьих перьев слышался в открытые окна присутственных мест; по утрам городские дамы сновали с корзинами по базару, а под вечер важно выступали под руку со своими благоверными, подымая уличную пыль пышными шлейфами. Старики и старухи из за́мка чинно ходили по домам своих покровителей, не нарушая общей гармонии. Обыватель охотно признавал их право на существование, находя совершенно основательным, чтобы кто-нибудь получал милостыню по субботам, а обитатели старого за́мка получали ее вполне респектабельно.

Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колеи. Правда, они не слонялись по улицам ночью; говорили, что они нашли приют где-то на горе, около униатской часовни, но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны, с гор и оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры, которые в сумерки исчезали в том же направлении. Своим появлением они возмущали тихое и дремливое течение городской жизни, выделяясь на сереньком фоне мрачными пятнами. Обыватели косились на них с враждебною тревогой; они, в свою очередь, окидывали обывательское существование беспокойно-внимательными взглядами, от которых многим становилось жутко. Эти фигуры нисколько не походили на аристократических нищих из за́мка — город их не признавал,

да они и не просили признания; их отношения к городу имели чисто боевой характер: они предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему, брать самим, чем выпрашивать. Они или жестоко страдали от преследований, если были слабы, или заставляли страдать обывателей, если обладали нужною для этого силой. Притом, как это встречается нередко, среди этой оборванной и темной толпы несчастливцев встречались лица, которые по уму и талантам могли бы сделать честь избраннейшему обществу за́мка, но не ужились в нем и предпочли демократическое общество униатской часовни. Некоторые из этих фигур были отмечены чертами глубокого трагизма.

До сих пор я помню, как весело грохотала улица, когда по ней проходила согнутая, унылая фигура старого «профессора». Это было тихое, угнетенное идиотизмом существо, в старой фризовой шинели, в шапке с огромным козырьком и почерневшею кокардой. Ученое звание, как кажется, было присвоено ему вследствие смутного предания, будто где-то и когда-то он был гувернером. Трудно себе представить создание более безобидное и смирное. Обыкновенно он тихо бродил по улицам, по-видимому, без всякой определенной цели, с тусклым взглядом и понуренною головой. Досужие обыватели знали за ним два качества, которыми пользовались в видах жестокого развлечения. «Профессор» вечно бормотал что-то про себя, но ни один человек не мог разобрать в этих речах ни слова. Они лились, точно журчание мутного ручейка, и при этом тусклые глаза глядели на слушателя, как бы стараясь вложить в его душу неуловимый смысл длинной речи. Его можно было завести, как машину; для этого любому из факторов, которому надоело дремать на улицах, стоило подозвать к себе старика и предложить какой-либо вопрос. «Профессор» покачивал головой, вдумчиво вперив в слушателя свои выцветшие глаза, и начинал бормотать что-то до бесконечности грустное. При этом слушатель мог спокойно уйти или хотя бы заснуть, и все же, проснувшись, он увидел бы над собой печальную темную фигуру, все так же тихо бормочущую непонятные речи. Но само по себе это обстоятельство не составляло еще ничего особенно интересного. Главный эффект уличных верзил был основан на другой черте «профессорского» характера: несчастный не мог равнодушно слышать упоминание о режущих и колющих орудиях. Поэтому, обыкновенно в самый разгар непонят-

ной элоквенции, слушатель, вдруг поднявшись с земли, вскрикивал резким голосом: «Ножи, ножницы, иголки, булавки!» Бедный старик, так внезапно пробужденный от своих мечтаний, взмахивал руками, точно подстреленная птица, испуганно озирался и хватался за грудь. О, сколько страданий остаются непонятными долговязым факторам лишь потому, что страдающий не может внушить представления о них посредством здорового удара кулаком! А бедняга «профессор» только озирался с глубокою тоской, и невыразимая мука слышалась в его голосе, когда, обращая к мучителю свои тусклые глаза, он говорил, судорожно царапая пальцами по груди:

— За сердце... за сердце крючком!.. за самое сердце!..

Вероятно, он хотел сказать, что этими криками у него истерзано сердце, но, по-видимому, это-то именно обстоятельство и способно было несколько развлечь досужего и скучающего обывателя. И бедный «профессор» торопливо удалялся, еще ниже опустив голову, точно опасаясь удара; а за ним гремели раскаты довольного смеха, и в воздухе, точно удары кнута, хлестали все те же крики:

— Ножи, ножницы, иголки, булавки!

Надо отдать справедливость изгнанникам из за́мка: они крепко стояли друг за друга, и если на толпу, преследовавшую «профессора», налетал в это время с двумя-тремя оборванцами пан Туркевич или в особенности отставной штык-юнкер Заусайлов, то многих из этой толпы постигала жестокая кара. Штык-юнкер Заусайлов, обладавший громадным ростом, сизо-багровым носом и свирепо выкаченными глазами, давно уже объявил открытую войну всему живущему, не признавая ни перемирий, ни нейтралитетов. Всякий раз после того, как он натыкался на преследуемого «профессора», долго не смолкали его бранные крики; он носился тогда по улицам, подобно Тамерлану, уничтожая все попадавшееся на пути грозного шествия; таким образом он практиковал еврейские погромы, задолго до их возникновения, в широких размерах; попадавшихся ему в плен евреев он всячески истязал, а над еврейскими дамами совершал гнусности, пока, наконец, экспедиция бравого штык-юнкера не кончалась на съезжей, куда он неизменно водворялся после жестоких схваток с бутарями. Обе стороны проявляли при этом немало геройства.

Другую фигуру, доставлявшую обывателям развлечение зрелищем своего несчастия и падения, представлял

отставной и совершенно спившийся чиновник Лавровский. Обыватели помнили еще недавнее время, когда Лавровского величали не иначе, как «пан писарь», когда он ходил в вицмундире с медными пуговицами, повязывая шею восхитительными цветными платочками. Это обстоятельство придавало еще более пикантности зрелищу его настоящего падения. Переворот в жизни пана Лавровского совершился быстро: для этого стоило только приехать в Княжье-Вено блестящему драгунскому офицеру, который прожил в городе всего две недели, но в это время успел победить и увезти с собою белокурую дочь богатого трактирщика. С тех пор обыватели ничего не слыхали о красавице Анне, так как она навсегда исчезла с их горизонта. А Лавровский остался со всеми своими цветными платочками, но без надежды, которая скрашивала раньше жизнь мелкого чиновника. Теперь он уже давно не служит. Где-то в маленьком местечке осталась его семья, для которой он был некогда надеждой и опорой; но теперь он ни о чем не заботился. В редкие трезвые минуты жизни он быстро проходил по улицам, потупясь и ни на кого не глядя, как бы подавленный стыдом собственного существования; ходил он оборванный, грязный, обросший длинными, нечесаными волосами, выделяясь сразу из толпы и привлекая всеобщее внимание; но сам он как будто не замечал никого и ничего не слышал. Изредка только он кидал вокруг мутные взгляды, в которых отражалось недоумение: чего хотят от него эти чужие и незнакомые люди? Что он им сделал, зачем они так упорно преследуют его? Порой, в минуты этих проблесков сознания, когда до слуха его долетало имя панны с белокурою косой, в сердце его поднималось бурное бешенство; глаза Лавровского загорались темным огнем на бледном лице, и он со всех ног кидался на толпу, которая быстро разбегалась. Подобные вспышки, хотя и очень редкие, странно подзадоривали любопытство скучающего безделья; не мудрено поэтому, что, когда Лавровский, потупясь, проходил по улицам, следовавшая за ним кучка бездельников, напрасно старавшихся вывести его из апатии, начинала с досады швырять в него грязью и каменьями.

Когда же Лавровский бывал пьян, то как-то упорно выбирал темные углы под заборами, никогда не просыхавшие лужи и тому подобные экстраординарные места, где он мог рассчитывать, что его не заметят. Там он садил-

ся, вытянув длинные ноги и свесив на грудь свою победную головушку. Уединение и водка вызывали в нем прилив откровенности, желание излить тяжелое горе, угнетающее душу, и он начинал бесконечный рассказ о своей молодой загубленной жизни. При этом он обращался к серым столбам старого забора, к березке, снисходительно шептавшей что-то над его головой, к сорокам, которые с бабьим любопытством подскакивали к этой темной, слегка только копошившейся фигуре.

Если кому-либо из нас, малых ребят, удавалось выследить его в этом положении, мы тихо окружали его и слушали с замиранием сердечным длинные и ужасающие рассказы. Волосы становились у нас дыбом, и мы со страхом смотрели на бледного человека, обвинявшего себя во всевозможных преступлениях. Если верить собственным словам Лавровского, он убил родного отца, вогнал в могилу мать, заморил сестер и братьев. Мы не имели причин не верить этим ужасным признаниям; нас только удивляло то обстоятельство, что у Лавровского было, по-видимому, несколько отцов, так как одному он пронзал мечом сердце, другого изводил медленным ядом, третьего топил в какой-то пучине. Мы слушали с ужасом и участием, пока язык Лавровского, все более заплетаясь, не отказывался, наконец, произносить членораздельные звуки и благодетельный сон не прекращал покаянные излияния. Взрослые смеялись над нами, говоря, что все это враки, что родители Лавровского умерли своею смертью, от голода и болезней. Но мы, чуткими ребячьими сердцами, слышали в его стонах искреннюю душевную боль и, принимая аллегории буквально, были все-таки ближе к истинному пониманию трагически свихнувшейся жизни.

Когда голова Лавровского опускалась еще ниже и из горла слышался храп, прерываемый нервными всхлипываниями,— маленькие детские головки наклонялись тогда над несчастным. Мы внимательно вглядывались в его лицо, следили за тем, как тени преступных деяний пробегали по нем и во сне, как нервно сдвигались брови и губы сжимались в жалостную, почти по-детски плачущую гримасу.

— Уббью! — вскрикивал он вдруг, чувствуя во сне беспредметное беспокойство от нашего присутствия, и тогда мы испуганною стаей кидались врозь.

Случалось, что в таком положении сонного его заливало дождем, засыпало пылью, а несколько раз, осенью,

даже буквально заносило снегом; и если он не погиб преждевременною смертью, то этим, без сомненья, был обязан заботам о своей грустной особе других, подобных ему, несчастливцев, и главным образом, заботам веселого пана Туркевича, который, сильно пошатываясь, сам разыскивал его, тормошил, ставил на ноги и уводил с собою.

Пан Туркевич принадлежал к числу людей, которые, как сам он выражался, не дают себе плевать в кашу, и в то время, как «профессор» и Лавровский пассивно страдали, Туркевич являл из себя особу веселую и благополучную во многих отношениях. Начать с того, что, не справляясь ни у кого об утверждении, он сразу произвел себя в генералы и требовал от обывателей соответствующих этому званию почестей. Так как никто не смел оспаривать его права на этот титул, то вскоре пан Туркевич совершенно проникся и сам верой в свое величие. Выступал он всегда очень важно, грозно насупив брови и обнаруживая во всякое время полную готовность сокрушить кому-нибудь скулы, что, по-видимому, считал необходимейшею прерогативой генеральского звания. Если же по временам его беззаботную голову посещали на этот счет какие-либо сомненья, то, изловив на улице первого встречного обывателя, он грозно спрашивал:

— Кто я по здешнему месту? а?

— Генерал Туркевич! — смиренно отвечал обыватель, чувствовавший себя в затруднительном положении. Туркевич немедленно отпускал его, величественно покручивая усы.

— То-то же!

А так как при этом он умел еще совершенно особенным образом шевелить своими тараканьими усами и был неистощим в прибаутках и остротах, то не удивительно, что его постоянно окружала толпа досужих слушателей и ему были даже открыты двери лучшей «ресторации», в которой собирались за бильярдом приезжие помещики. Если сказать правду, бывали нередко случаи, когда пан Туркевич вылетал оттуда с быстротой человека, которого подталкивают сзади не особенно церемонно; но случаи эти, объяснявшиеся недостаточным уважением помещиков к остроумию, не оказывали влияния на общее настроение Туркевича: веселая самоуверенность составляла нормальное его состояние, так же как и постоянное опьянение.

Последнее обстоятельство составляло второй источник его благополучия,— ему достаточно было одной рюмки, чтобы зарядиться на весь день. Объяснялось это огромным количеством выпитой уже Туркевичем водки, которая превратила его кровь в какое-то водочное сусло; генералу теперь достаточно было поддерживать это сусло на известной степени концентрации, чтоб оно играло и бурлило в нем, окрашивая для него мир в радужные краски.

Зато, если, по какой-либо причине, дня три генералу не перепадало ни одной рюмки, он испытывал невыносимые муки. Сначала он впадал в меланхолию и малодушие; всем было известно, что в такие минуты грозный генерал становился беспомощнее ребенка, и многие спешили выместить на нем свои обиды. Его били, оплевывали, закидывали грязью, а он даже не старался избегать поношений; он только ревел во весь голос, и слезы градом катились у него из глаз по уныло обвисшим усам. Бедняга обращался ко всем с просьбой убить его, мотивируя это желание тем обстоятельством, что ему все равно придется помереть «собачьей смертью под забором». Тогда все от него отступались. В таком градусе было что-то в голосе и в лице генерала, что заставляло самых смелых преследователей поскорее удаляться, чтобы не видеть этого лица, не слышать голоса человека, на короткое время приходившего к сознанию своего ужасного положения... С генералом опять происходила перемена; он становился ужасен, глаза лихорадочно загорались, щеки вваливались, короткие волосы подымались на голове дыбом. Быстро поднявшись на ноги, он ударял себя в грудь и торжественно отправлялся по улицам, оповещая громким голосом:

— Иду!.. Как пророк Иеремия... Иду обличать нечестивых!

Это обещало самое интересное зрелище. Можно сказать с уверенностью, что пан Туркевич в такие минуты с большим успехом выполнял функции неведомой в нашем городишке гласности; поэтому нет ничего удивительного, если самые солидные и занятые граждане бросали обыденные дела и примыкали к толпе, сопровождавшей новоявленного пророка, или хоть издали следили за его похождениями. Обыкновенно он прежде всего направлялся к дому секретаря уездного суда и открывал перед его окнами нечто вроде судебного заседания, выбрав из толпы подходящих актеров, изображавших истцов и от-

ветчиков; он сам говорил за них речи и сам же отвечал им, подражая с большим искусством голосу и манере обличаемого. Так как при этом он всегда умел придать спектаклю интерес современности, намекая на какое-нибудь всем известное дело, и так как, кроме того, он был большой знаток судебной процедуры, то не мудрено, что в самом скором времени из дома секретаря выбегала кухарка, что-то совала Туркевичу в руку и быстро скрывалась, отбиваясь от любезностей генеральской свиты. Генерал, получив даяние, злобно хохотал и, с торжеством размахивая монетой, отправлялся в ближайший кабак.

Оттуда, утолив несколько жажду, он вел своих слушателей к домам «подсудков», видоизменяя репертуар соответственно обстоятельствам. А так как каждый раз он получал поспектаклную плату, то натурально, что грозный тон постепенно смягчался, глаза исступленного пророка умасливались, усы закручивались кверху, и представление от обличительной драмы переходило к веселому водевилю. Кончалось оно обыкновенно перед домом исправника Коца. Это был добродушнейший из градоправителей, обладавший двумя небольшими слабостями: во-первых, он красил свои седые волосы черною краской и, во-вторых, питал пристрастие к толстым кухаркам, полагаясь во всем остальном на волю божию и на добровольную обывательскую «благодарность». Подойдя к исправницкому дому, выходившему фасом на улицу, Туркевич весело подмигивал своим спутникам, кидал кверху картуз и объявлял громогласно, что здесь живет не начальник, а родной его, Туркевича, отец и благодетель.

Затем он устремлял свои взоры на окна и ждал последствий. Последствия эти были двоякого рода: или немедленно же из парадной двери выбегала толстая и румяная Матрена с милостивым подарком от отца и благодетеля, или же дверь оставалась закрытою, в окне кабинета мелькала сердитая старческая физиономия, обрамленная черными, как смоль, волосами, а Матрена тихонько задами прокрадывалась на съезжую. На съезжей имел постоянное местожительство бутарь Микита, замечательно набивший руку именно в обращении с Туркевичем. Он тотчас же флегматически откладывал в сторону сапожную колодку и подымался со своего сиденья.

Между тем Туркевич, не видя пользы от дифирамбов,

понемногу и осторожно начинал переходить к сатире. Обыкновенно он начинал сожалением о том, что его благодетель считает зачем-то нужным красить свои почтенные седины сапожною ваксой. Затем, огорченный полным невниманием к своему красноречию, он возвышал голос, подымал тон и начинал громить благодетеля за плачевный пример, подаваемый гражданам незаконным сожитием с Матреной. Дойдя до этого щекотливого предмета, генерал терял уже всякую надежду на примирение с благодетелем и потому воодушевлялся истинным красноречием. К сожалению, обыкновенно на этом именно месте речи происходило неожиданное постороннее вмешательство; в окно высовывалось желтое и сердитое лицо Коца, а сзади Туркевича подхватывал с замечательною ловкостью подкравшийся к нему Микита. Никто из слушателей не пытался даже предупредить оратора об угрожавшей ему опасности, ибо артистические приемы Микиты вызывали всеобщий восторг. Генерал, прерванный на полуслове, вдруг как-то странно мелькал в воздухе, опрокидывался спиной на спину Микиты — и через несколько секунд дюжий бутарь, слегка согнувшийся под своей ношей, среди оглушительных криков толпы, спокойно направлялся к кутузке. Еще минута — черная дверь съезжей раскрывалась, как мрачная пасть, и генерал, беспомощно болтавший ногами, торжественно скрывался за дверью кутузки. Неблагодарная толпа кричала Миките «ура» и медленно расходилась.

Кроме этих выделявшихся из ряда личностей, около часовни ютилась еще темная масса жалких оборванцев, появление которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговок, спешивших прикрыть свое добро руками, подобно тому, как наседки прикрывают цыплят, когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти жалкие личности, окончательно лишенные всяких ресурсов со времени изгнания из за́мка, составили дружное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях. Основывались эти слухи, главным образом, на той бесспорной посылке, что человек не может существовать без пищи; а так как почти все эти темные личности, так или иначе, отбились от обычных способов ее добывания и были оттерты счастливцами из за́мка от благ местной филантропии, то отсюда следовало неизбежное заключение, что им было необходимо воровать или умереть. Они не умерли, значит...

самый факт их существования обращался в доказательство их преступного образа действий.

Если только это была правда, то уже не подлежало спору, что организатором и руководителем сообщества не мог быть никто другой, как пан Тыбурций Драб, самая замечательная личность из всех проблематических натур, не ужившихся в старом за́мке.

Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Люди, одаренные сильным воображением, приписывали ему аристократическое имя, которое он покрыл позором и потому принужден был скрыться, причем участвовал будто бы в подвигах знаменитого Кармелюка. Но, во-первых, для этого он был еще недостаточно стар, а во-вторых, наружность пана Тыбурция не имела в себе ни одной аристократической черты. Роста он был высокого; сильная сутоловатость как бы говорила о бремени вынесенных Тыбурцием несчастий; крупные черты лица были грубо выразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали врозь; низкий лоб, несколько выдавшаяся вперед нижняя челюсть и сильная подвижность личных мускулов придавали всей физиономии что-то обезьянье; но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них светились, вместе с лукавством, острая проницательность, энергия и недюжинный ум. В то время как на его лице сменялся целый калейдоскоп гримас, эти глаза сохраняли постоянно одно выражение, отчего мне всегда бывало как-то безотчетно жутко смотреть на гаерство этого странного человека. Под ним будто струилась глубокая неустанная печаль.

Руки пана Тыбурция были грубы и покрыты мозолями, большие ноги ступали по-мужичьи. Ввиду этого, большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения, и самое большее, что соглашалось допустить, это — звание дворового человека какого-нибудь из знатных панов. Но тогда опять встречалось затруднение: как объяснить его феноменальную ученость, которая всем была очевидна. Не было кабака во всем городе, в котором бы пан Тыбурций, в назидание собиравшихся в базарные дни хохлов, не произносил, стоя на бочке, целых речей из Цицерона, целых глав из Ксенофонта. Хохлы разевали рты и подталкивали друг друга локтями, а пан Тыбурций, возвышаясь в своих лохмотьях над всею толпой, громил Катилину или описывал подвиги

Цезаря или коварство Митридата. Хохлы, вообще наделенные от природы богатою фантазией, умели как-то влагать свой собственный смысл в эти одушевленные, хотя и непонятные речи... И когда, ударяя себя в грудь и сверкая глазами, он обращался к ним со словами: «Patres conscripti»[1] — они тоже хмурились и говорили друг другу:

— Ото ж, вражий сын, як лается!

Когда же затем пан Тыбурций, подняв глаза к потолку, начинал декламировать длиннейшие латинские периоды,— усатые слушатели следили за ним с боязливым и жалостным участием. Им казалось тогда, что душа декламатора витает где-то в неведомой стране, где говорят не по-христиански, а по отчаянной жестикуляции оратора они заключали, что она там испытывает какие-то горестные приключения. Но наибольшего напряжения достигало это участливое внимание, когда пан Тыбурций, закатив глаза и поводя одними белками, донимал аудиторию продолжительною скандовкой Виргилия или Гомера. Его голос звучал тогда такими глухими загробными раскатами, что сидевшие по углам и наиболее поддавшиеся действию жидовской горилки слушатели опускали головы, свешивали длинные подстриженные спереди «чуприны» и начинали всхлипывать:

— О-ох, матиньки, та и жалобно ж, хай ему бис! — И слезы капали из глаз и стекали по длинным усам.

Нет поэтому ничего удивительного, что когда оратор внезапно соскакивал с бочки и разражался веселым хохотом, омраченные лица хохлов вдруг прояснялись, и руки тянулись к карманам широких штанов за медяками. Обрадованные благополучным окончанием трагических экскурсий пана Тыбурция, хохлы поили его водкой, обнимались с ним, и в его картуз падали, звеня, медяки.

Ввиду такой поразительной учености пришлось построить новую гипотезу о происхождении этого чудака, которая бы более соответствовала изложенным фактам. Помирились на том, что пан Тыбурций был некогда дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов-иезуитов, собственно на предмет чистки сапогов молодого панича. Оказалось, однако, что в то время, как молодой граф воспринимал преимущественно удары трехвостной «дисциплины»

[1] Отцы сенаторы *(лат.).— Ред.*

святых отцов, его лакей перехватил всю мудрость, которая назначалась для головы барчука.

Вследствие окружавшей Тыбурция тайны, в числе других профессий ему приписывали также отличные сведения по части колдовского искусства. Если на полях, примыкавших волнующимся морем к последним лачугам предместья, появлялись вдруг колдовские «закруты», то никто не мог вырвать их с большею безопасностью для себя и жнецов, как пан Тыбурций. Если зловещий «пугач»[1] прилетал по вечерам на чью-нибудь крышу и громкими криками накликал туда смерть, то опять приглашали Тыбурция, и он с большим успехом прогонял зловещую птицу поучениями из Тита Ливия.

Никто не мог бы также сказать, откуда у пана Тыбурция явились дети, а между тем, факт, хотя и никем не объясненный, стоял налицо... даже два факта: мальчик лет семи, но рослый и развитой не по летам, и маленькая трехлетняя девочка. Мальчика пан Тыбурций привел, или, вернее, принес с собой с первых дней, как явился сам на горизонте нашего города. Что же касается девочки, то, по-видимому, он отлучался, чтобы приобрести ее, на несколько месяцев в совершенно неизвестные страны.

Мальчик, по имени Валек, высокий, тонкий, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды, смущавшие сердца калачниц. Девочку видели только один или два раза на руках пана Тыбурция, а затем она куда-то исчезла, и где находилась — никому не было известно.

Поговаривали о каких-то подземельях на униатской горе около часовни, и так как в тех краях, где так часто проходила с огнем и мечом татарщина, где некогда бушевала панская «сваволя» (своеволие) и правили кровавую расправу удальцы-гайдамаки, подобные подземелья очень нередки, то все верили этим слухам, тем более, что ведь жила же где-нибудь вся эта орда темных бродяг. А они обыкновенно под вечер исчезали именно в направлении к часовне. Туда своею сонною походкой ковылял «профессор», шагал решительно и быстро пан Тыбурций; туда же Туркевич, пошатываясь, провожал свирепого и беспомощного Лавровского; туда уходили

[1] Филин.

под вечер, утопая в сумерках, другие темные личности, и не было храброго человека, который бы решился следовать за ними по глинистым обрывам. Гора, изрытая могилами, пользовалась дурной славой. На старом кладбище в сырые осенние ночи загорались синие огни, а в часовне сычи кричали так пронзительно и звонко, что от криков проклятой птицы даже у бесстрашного кузнеца сжималось сердце.

III. Я И МОЙ ОТЕЦ

— Плохо, молодой человек, плохо! — говорил мне нередко старый Януш из за́мка, встречая меня на улицах города в свите пана Туркевича или среди слушателей пана Драба.

И старик качал при этом своею седою бородой.

— Плохо, молодой человек,— вы в дурном обществе!.. Жаль, очень жаль сына почтенных родителей, который не щадит семейной чести.

Действительно, с тех пор как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало еще угрюмее, меня очень редко видели дома. В поздние летние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений свое окно, полузакрытое густою зеленью сирени, и тихо ложился в постель. Если маленькая сестренка еще не спала в своей качалке в соседней комнате, я подходил к ней, и мы тихо ласкали друг друга и играли, стараясь не разбудить ворчливую старую няньку.

А утром, чуть свет, когда в доме все еще спали, я уж прокладывал росистый след в густой, высокой траве сада, перелезал через забор и шел к пруду, где меня ждали с удочками такие же сорванцы-товарищи, или к мельнице, где сонный мельник только что отодвинул шлюзы и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в «лото́ки» и бодро принималась за дневную работу.

Большие мельничные колеса, разбуженные шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали, как-то нехотя подавались, точно ленясь проснуться, но чрез несколько секунд уже кружились, брызгая пеной и купаясь в холодных струях. За ними медленно и солидно трогались толстые валы, внутри мельницы начинали грохотать шестерни, шуршали жернова, и белая мучная пыль тучами

поднималась из щелей старого-престарого мельничного здания.

Тогда я шел далее. Мне нравилось встречать пробуждение природы; я бывал рад, когда мне удавалось вспугнуть заспавшегося жаворонка или выгнать из борозды трусливого зайца. Капли росы падали с верхушек трясунки, с головок луговых цветов, когда я пробирался полями к загородной роще. Деревья встречали меня шепотом ленивой дремоты. Из окон тюрьмы не глядели еще бледные, угрюмые лица арестантов, и только караул, громко звякая ружьями, обходил вокруг стены, сменяя усталых ночных часовых.

Я успевал совершить дальний обход, и все же в городе то и дело встречались мне заспанные фигуры, отворявшие ставни домов. Но вот солнце поднялось уже над горой, из-за прудов слышится крикливый звонок, сзывающий гимназистов, и голод зовет меня домой к утреннему чаю.

Вообще все меня звали бродягой, негодным мальчишкой и так часто укоряли в разных дурных наклонностях, что я, наконец, и сам проникся этим убеждением. Отец также поверил этому и делал иногда попытки заняться моим воспитанием, но попытки эти всегда кончались неудачей. При виде строгого и угрюмого лица, на котором лежала суровая печать неизлечимого горя, я робел и замыкался в себя. Я стоял перед ним, переминаясь, теребя свои штанишки, и озирался по сторонам. Временами что-то как будто подымалось у меня в груди; мне хотелось, чтоб он обнял меня, посадил к себе на колени и приласкал. Тогда я прильнул бы к его груди, и, быть может, мы вместе заплакали бы — ребенок и суровый мужчина — о нашей общей утрате. Но он смотрел на меня отуманенными глазами, как будто поверх моей головы, и я весь сжимался под этим непонятным для меня взглядом.

— Ты помнишь матушку?

Помнил ли я ее? О да, я помнил ее! Я помнил, как, бывало, просыпаясь ночью, я искал в темноте ее нежные руки и крепко прижимался к ним, покрывая их поцелуями. Я помнил ее, когда она сидела больная перед открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь с нею в последний год своей жизни.

О да, я помнил ее!.. Когда она, вся покрытая цветами, молодая и прекрасная, лежала с печатью смерти на бледном лице, я, как зверек, забился в угол и смотрел на нее горящими глазами, перед которыми впервые открылся

весь ужас загадки о жизни и смерти. А потом, когда ее унесли в толпе незнакомых людей, не мои ли рыдания звучали сдавленным стоном в сумраке первой ночи моего сиротства?

О да, я ее помнил!.. И теперь часто, в глухую полночь, я просыпался, полный любви, которая теснилась в груди, переполняя детское сердце,— просыпался с улыбкой счастия, в блаженном неведении, навеянном розовыми снами детства. И опять, как прежде, мне казалось, что она со мною, что я сейчас встречу ее любящую милую ласку. Но мои руки протягивались в пустую тьму, и в душу проникало сознание горького одиночества. Тогда я сжимал руками свое маленькое, больно стучавшее сердце, и слезы прожигали горячими струями мои щеки.

О да, я помнил ее!.. Но на вопрос высокого, угрюмого человека, в котором я желал, но не мог почувствовать родную душу, я съеживался еще более и тихо выдергивал из его руки свою ручонку.

И он отворачивался от меня с досадою и болью. Он чувствовал, что не имеет на меня ни малейшего влияния, что между нами стоит какая-то неодолимая стена. Он слишком любил *ее*, когда она была жива, не замечая меня из-за своего счастия. Теперь меня закрывало от него тяжелое горе.

И мало-помалу пропасть, нас разделявшая, становилась все шире и глубже. Он все более убеждался, что я — дурной, испорченный мальчишка, с черствым, эгоистическим сердцем, и сознание, что он *должен*, но *не может* заняться мною, *должен* любить меня, но не находит для этой любви угла в своем сердце, еще увеличивало его нерасположение. И я это чувствовал. Порой, спрятавшись в кустах, я наблюдал за ним; я видел, как он шагал по аллеям, все ускоряя походку, и глухо стонал от нестерпимой душевной муки. Тогда мое сердце загоралось жалостью и сочувствием. Один раз, когда, сжав руками голову, он присел на скамейку и зарыдал, я не вытерпел и выбежал из кустов на дорожку, повинуясь неопределенному побуждению, толкавшему меня к этому человеку. Но он, пробудясь от мрачного и безнадежного созерцания, сурово взглянул на меня и осадил холодным вопросом:

— Что нужно?

Мне ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, боясь, чтоб отец не прочел его в моем

смущенном лице. Убежав в чащу сада, я упал лицом в траву и горько заплакал от досады и боли.

С шести лет я испытывал уже ужас одиночества.

Сестре Соне было четыре года. Я любил ее страстно, и она платила мне такою же любовью; но установившийся взгляд на меня, как на отпетого маленького разбойника, воздвиг и между нами высокую стену. Всякий раз, когда я начинал играть с нею, по-своему шумно и резво, старая нянька, вечно сонная и вечно дравшая, с закрытыми глазами, куриные перья для подушек, немедленно просыпалась, быстро схватывала мою Соню и уносила к себе, кидая на меня сердитые взгляды; в таких случаях она всегда напоминала мне всклоченную наседку, себя я сравнивал с хищным коршуном, а Соню — с маленьким цыпленком. Мне становилось очень горько и досадно. Не мудрено поэтому, что скоро я прекратил всякие попытки занимать Соню моими преступными играми, а еще через некоторое время мне стало тесно в доме и в садике, где я не встречал ни в ком привета и ласки. Я начал бродяжить. Все мое существо трепетало тогда каким-то странным предчувствием, предвкушением жизни. Мне все казалось, что где-то там, в этом большом и неведомом свете, за старою оградой сада, я найду что-то; казалось, что я что-то должен сделать и могу что-то сделать, но я только не знал, что именно; а между тем, навстречу этому неведомому и таинственному, во мне из глубины моего сердца что-то подымалось, дразня и вызывая. Я все ждал разрешения этих вопросов и инстинктивно бегал и от няньки с ее перьями, и от знакомого ленивого шепота яблоней в нашем маленьком садике, и от глупого стука ножей, рубивших на кухне котлеты. С тех пор к прочим нелестным моим эпитетам прибавились названия уличного мальчишки и бродяги; но я не обращал на это внимания. Я притерпелся к упрекам и выносил их, как выносил внезапно налетавший дождь или солнечный зной. Я хмуро выслушивал замечания и поступал по-своему. Шатаясь по улицам, я всматривался детски любопытными глазами в незатейливую жизнь городка с его лачугами, вслушивался в гул проволок на шоссе, вдали от городского шума, стараясь уловить, какие вести несутся по ним из далеких больших городов, или в шелест колосьев, или в шепот ветра на высоких гайдамацких могилах. Не раз мои глаза широко раскрывались, не раз останавливался я с болезненным испугом перед картинами жизни... Образ за обра-

зом, впечатление за впечатлением ложились на душу яркими пятнами; я узнал и увидал много такого, чего не видали дети значительно старше меня, а между тем то неведомое, что подымалось из глубины детской души, по-прежнему звучало в ней несмолкающим, таинственным, подмывающим, вызывающим рокотом.

Когда старухи из зáмка лишили его в моих глазах уважения и привлекательности, когда все углы города стали мне известны до последних грязных закоулков, тогда я стал заглядываться на видневшуюся вдали, на униатской горе, часовню. Сначала, как пугливый зверек, я подходил к ней с разных сторон, все не решаясь взобраться на гору, пользовавшуюся дурною славой. Но по мере того как я знакомился с местностью, передо мною выступали только тихие могилы и разрушенные кресты. Нигде не было видно признаков какого-либо жилья и человеческого присутствия. Все было как-то смиренно, тихо, заброшено, пусто. Только самая часовня глядела, насупившись, пустыми окнами, точно думала какую-то грустную думу. Мне захотелось осмотреть ее всю, заглянуть внутрь, чтобы убедиться окончательно, что и там нет ничего, кроме пыли. Но так как одному было бы и страшно, и неудобно предпринимать подобную экскурсию, то я навербовал на улицах города небольшой отряд из трех сорванцов, привлеченных к предприятию обещанием булок и яблоков из нашего сада.

IV. Я ПРИОБРЕТАЮ НОВОЕ ЗНАКОМСТВО

Мы вышли в экскурсию после обеда и, подойдя к горе, стали подыматься по глинистым обвалам, взрытым лопатами жителей и весенними потоками. Обвалы обнажали склоны горы, и кое-где из глины виднелись высунувшиеся наружу белые, истлевшие кости. В одном месте деревянный гроб выставлялся истлевшим углом, в другом — скалил зубы человеческий череп, уставясь на нас черными впадинами глаз.

Наконец, помогая друг другу, мы торопливо взобрались на гору из последнего обрыва. Солнце начинало склоняться к закату. Косые лучи мягко золотили зеленую мураву старого кладбища, играли на покосившихся крестах, переливались в уцелевших окнах часовни. Было тихо, веяло спокойствием и глубоким миром брошенного кладбища. Здесь уже мы не видели ни черепов, ни голе-

ней, ни гробов. Зеленая свежая трава ровным, слегка склонявшимся к городу пологом любовно скрывала в своих объятиях ужас и безобразие смерти.

Мы были одни; только воробьи возились кругом да ласточки бесшумно влетали и вылетали в окна старой часовни, которая стояла, грустно понурясь, среди поросших травою могил, скромных крестов, полуразвалившихся каменных гробниц, на развалинах которых стлалась густая зелень, пестрели разноцветные головки лютиков, кашки, фиалок.

— Нет никого,— сказал один из моих спутников.

— Солнце заходит,— заметил другой, глядя на солнце, которое не заходило еще, но стояло над горою.

Дверь часовни была крепко заколочена, окна — высоко над землею; однако, при помощи товарищей, я надеялся взобраться на них и взглянуть внутрь часовни.

— Не надо!— вскрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость, и схватил меня за руку.

— Пошел ко всем чертям, баба!— прикрикнул на него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину.

Я храбро взобрался на нее; потом он выпрямился, и я стал ногами на его плечи. В таком положении я без труда достал рукой раму и, убедясь в ее крепости, поднялся к окну и сел на него.

— Ну, что же там?— спрашивали меня снизу с живым интересом.

Я молчал. Перегнувшись через косяк, я заглянул внутрь часовни, и оттуда на меня пахнуло торжественною тишиной брошенного храма. Внутренность высокого, узкого здания была лишена всяких украшений. Лучи вечернего солнца, свободно врываясь в открытые окна, разрисовывали ярким золотом старые, ободранные стены. Я увидел внутреннюю сторону запертой двери, провалившиеся хоры, старые истлевшие колонны, как бы покачнувшиеся под непосильною тяжестью. Углы были затканы паутиной, и в них ютилась та особенная тьма, которая залегает все углы таких старых зданий. От окна до пола казалось гораздо дальше, чем до травы снаружи. Я смотрел точно в глубокую яму и сначала не мог разглядеть каких-то странных предметов, маячивших по полу причудливыми очертаниями.

Между тем моим товарищам надоело стоять внизу,

ожидая от меня известий, и потому один из них, проделав ту же процедуру, какую проделал я раньше, повис рядом со мною, держась за оконную раму.

— Престол,— сказал он, вглядевшись в странный предмет на полу.

— И паникадило.

— Столик для евангелия.

— А вон там что́ такое?— с любопытством указал он на темный предмет, видневшийся рядом с престолом.

— Поповская шапка.

— Нет, ведро.

— Зачем же тут ведро?

— Может быть, в нем когда-то были угли для кадила.

— Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай, привяжем к раме пояс, и ты по нем спустишься.

— Да, как же, так и спущусь!.. Полезай сам, если хочешь.

— Ну, что ж! Думаешь, не полезу?

— И полезай!

Действуя по первому побуждению, я крепко связал два ремня, задел их за раму и, отдав один конец товарищу, сам повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнул; но взгляд на участливо склонившуюся ко мне рожицу моего приятеля восстановил мою бодрость. Стук каблука зазвенел под потолком, отдался в пустоте часовни, в ее темных углах. Несколько воробьев вспорхнули с насиженных мест на хорах и вылетели в большую прореху в крыше. Со стены, на окнах которой мы сидели, глянуло на меня вдруг строгое лицо, с бородой, в терновом венце. Это склонялось из-под самого потолка гигантское распятие.

Мне было жутко; глаза моего друга сверкали захватывающим дух любопытством и участием.

— Ты подойдешь?— спросил он тихо.

— Подойду,— ответил я так же, собираясь с духом. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное.

Сначала послышался стук и шум обвалившейся на хорах штукатурки. Что-то завозилось вверху, тряхнуло в воздухе тучею пыли, и большая серая масса, взмахнув крыльями, поднялась к прорехе в крыше. Часовня на мгновение как будто потемнела. Огромная старая сова, обеспокоенная нашей возней, вылетела из темного угла,

мелькнула, распластавшись на фоне голубого неба в пролете, и шарахнулась вон.

Я почувствовал прилив судорожного страха.

— Подымай! — крикнул я товарищу, схватившись за ремень.

— Не бойся, не бойся! — успокаивал он, приготовляясь поднять меня на свет дня и солнца.

Но вдруг лицо его исказилось от страха; он вскрикнул и мгновенно исчез, спрыгнув с окна. Я инстинктивно оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня, впрочем, больше удивлением, чем ужасом.

Темный предмет нашего спора, шапка или ведро, оказавшийся в конце концов горшком, мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом. Я успел только разглядеть очертания небольшой, как будто детской руки...

Трудно передать мои ощущения в эту минуту. Я не страдал; чувство, которое я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Я был на том свете. Откуда-то, точно из другого мира, в течение нескольких секунд доносился до меня быстрою дробью тревожный топот трех пар детских ног. Но, вскоре затих и он. Я был один, точно в гробу, в виду каких-то странных и необъяснимых явлений.

Времени для меня не существовало, поэтому я не мог сказать, скоро ли я услышал под престолом сдержанный шепот.

— Почему же он не лезет себе назад?

— Видишь, испугался.

Первый голос показался мне совсем детским; второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Мне показалось также, что в щели старого престола сверкнула пара черных глаз.

— Что же он теперь будет делать? — послышался опять шепот.

— А вот погоди,— ответил голос постарше.

Под престолом что-то сильно завозилось, он даже как будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него вынырнула фигура.

Это был мальчик лет девяти, больше меня, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами.

Хотя незнакомец, явившийся на сцену столь неожидан-

ным и странным образом, подходил ко мне с тем беспечно-задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но все же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился еще более, когда из-под того же престола, или, вернее, из люка в полу часовни, который он покрывал, сзади мальчика показалось еще грязное личико, обрамленное белокурыми волосами и сверкавшее на меня детски любопытными голубыми глазами.

Я несколько отодвинулся от стены и, согласно рыцарским правилам нашего базара, тоже положил руки в карманы. Это было признаком, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на мое к нему презрение.

Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил:

— Ты здесь зачем?

— Так,— ответил я.— Тебе какое дело?

Мой противник повел плечом, как будто намереваясь вынуть руку из кармана и ударить меня.

Я не моргнул и глазом.

— Я вот тебе покажу!— погрозил он.

Я выпятился грудью вперед.

— Ну, ударь... попробуй!..

Мгновение было критическое; от него зависел характер дальнейших отношений. Я ждал, но мой противник, окинув меня тем же испытующим взглядом, не шевелился.

— Я, брат, и сам... тоже...— сказал я, но уж более миролюбиво.

Между тем девочка, упершись маленькими ручонками в пол часовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподымалась и, наконец, направилась нетвердыми шагами к мальчишке. Подойдя вплоть, она крепко ухватилась за него и, прижавшись к нему, поглядела на меня удивленным и отчасти испуганным взглядом.

Это решило исход дела; стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться, а я, конечно, был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением.

— Как твое имя?— спросил мальчик, гладя рукой белокурую головку девочки.

— Вася. А ты кто такой?

— Я Валек... Я тебя знаю: ты живешь в саду над прудом. У вас большие яблоки.

— Да, это правда, яблоки у нас хорошие... не хочешь ли?

Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моею постыдно бежавшей армией, я подал одно из них Валеку, другое протянул девочке. Но она скрыла свое лицо, прижавшись к Валеку.

— Боится,— сказал тот и сам передал яблоко девочке.

— Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазал в ваш сад?— спросил он затем.

— Что ж, приходи! Я буду рад,— ответил я радушно. Ответ этот озадачил Валека; он призадумался.

— Я тебе не компания,— сказал он грустно.

— Отчего же?— спросил я, огорченный грустным тоном, каким были сказаны эти слова.

— Твой отец — пан судья.

— Ну так что же?— изумился я чистосердечно.— Ведь ты будешь играть со мной, а не с отцом.

Валек покачал головой.

— Тыбурций не пустит,— сказал он, и, как будто это имя напомнило ему что-то, он вдруг спохватился:— Послушай... Ты, кажется, славный хлопец, но все-таки тебе лучше уйти. Если Тыбурций тебя застанет, будет плохо.

Я согласился, что мне, действительно, пора уходить. Последние лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни, а до города было не близко.

— Как же мне отсюда выйти?

— Я тебе укажу дорогу. Мы выйдем вместе.

— А она?— ткнул я пальцем в нашу маленькую даму.

— Маруся? Она тоже пойдет с нами.

— Как, в окно?

Валек задумался.

— Нет, вот что: я тебе помогу взобраться на окно, а мы выйдем другим ходом.

С помощью моего нового приятеля я поднялся к окну. Отвязав ремень, я обвил его вокруг рамы и, держась за оба конца, повис в воздухе. Затем, отпустив один конец, я спрыгнул на землю и выдернул ремень. Валек и Маруся ждали меня уже под стеной снаружи.

Солнце недавно еще село за гору. Город утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки тополей на острове резко выделялись червонным золотом, разрисованные последними лучами заката. Мне казалось, что с тех пор как я явился сюда, на старое кладбище, прошло не менее суток, что это было вчера.

— Как хорошо! — сказал я, охваченный свежестью наступающего вечера и вдыхая полною грудью влажную прохладу.

— Скучно здесь...— с грустью произнес Валек.

— Вы все здесь живете? — спросил я, когда мы втроем стали спускаться с горы.

— Здесь.

— Где же ваш дом?

Я не мог себе представить, чтобы дети могли жить без «дома».

Валек усмехнулся с обычным грустным видом и ничего не ответил.

Мы миновали крутые обвалы, так как Валек знал более удобную дорогу. Пройдя меж камышей по высохшему болоту и переправившись через ручеек по тонким дощечкам, мы очутились у подножия горы, на равнине.

Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул ее также и девочке. Она ласково подала мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх голубыми глазами, спросила:

— Ты придешь к нам опять?

— Приду,— ответил я,— непременно!..

— Что ж,— сказал в раздумье Валек,— приходи, пожалуй, только в такое время, когда наши будут в городе.

— Кто это «ваши»?

— Да наши... все: Тыбурций, Лавровский, Туркевич. Профессор... тот, пожалуй, не помешает.

— Хорошо. Я посмотрю, когда они будут в городе, и тогда приду. А пока прощайте!

— Эй, послушай-ка,— крикнул мне Валек, когда я отошел несколько шагов.— А ты болтать не будешь о том, что был у нас?

— Никому не скажу,— ответил я твердо.

— Ну вот, это хорошо! А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел черта.

— Ладно, скажу.

— Ну, прощай!

— Прощай.

Густые сумерки залегли над Княжьим-Веном, когда я приблизился к забору своего сада. Над за́мком зарисовался тонкий серп луны, загорелись звезды. Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку.

— Вася, друг,— заговорил взволнованным шепотом мой бежавший товарищ.— Как же это ты?.. Голубчик!..

— А вот, как видишь... А вы все меня бросили!..

Он потупился, но любопытство взяло верх над чувством стыда, и он спросил опять:

— Что́ же там было?

— Что́,— ответил я тоном, не допускавшим сомнения,— разумеется черти... А вы — трусы.

И, отмахнувшись от сконфуженного товарища, я полез на забор.

Через четверть часа я спал уже глубоким сном, и во сне мне виделись действительные черти, весело выскакивавшие из черного люка. Валек гонял их ивовым прутиком, а Маруся, весело сверкая глазками, смеялась и хлопала в ладоши.

V. ЗНАКОМСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С тех пор я весь был поглощен моим новым знакомством. Вечером, ложась в постель, и утром, вставая, я только и думал о предстоящем визите на гору. По улицам города я шатался теперь с исключительною целью — высмотреть, тут ли находится вся компания, которую Януш характеризовал словами «дурное общество»; и если Лавровский валялся в луже, если Туркевич и Тыбурций разглагольствовали перед своими слушателями, а темные личности шныряли по базару, я тотчас же бегом отправлялся через болото, на гору, к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые я мог рвать в саду без запрета, и лакомствами, которые я сберегал всегда для своих новых друзей.

Валек, вообще очень солидный и внушавший мне уважение своими манерами взрослого человека, принимал эти приношения просто и по большей части откладывал куда-нибудь, приберегая для сестры, но Маруся всякий раз всплескивала ручонками, и глаза ее загорались огоньком восторга; бледное лицо девочки вспыхивало румянцем, она смеялась, и этот смех нашей маленькой приятельницы отдавался в наших сердцах, вознаграждая за конфеты, которые мы жертвовали в ее пользу.

Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои четыре года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка; руки ее были тонки и прозрачны; головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика; глаза смотрели

порой так не по-детски грустно, и улыбка так напоминала мне мою мать в последние дни, когда она, бывало, сидела против открытого окна и ветер шевелил ее белокурые волосы, что мне становилось самому грустно, и слезы подступали к глазам.

Я невольно сравнивал ее с моей сестрой; они были в одном возрасте, но моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда, бывало, разыграется, так звонко смеялась, на ней всегда были такие красивые платья, и в темные косы ей каждый день горничная вплетала алую ленту.

А моя маленькая приятельница почти никогда не бегала и смеялась очень редко; когда же смеялась, то смех ее звучал, как самый маленький серебряный колокольчик, которого на десять шагов уже не слышно. Платье ее было грязно и старо, в косе не было лент, но волосы у нее были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони, и Валек, к моему удивлению, очень искусно умел заплетать их, что и исполнял каждое утро.

Я был большой сорванец. «У этого малого,— говорили обо мне старшие,— руки и ноги налиты ртутью», чему я и сам верил, хотя не представлял себе ясно, кто и каким образом произвел надо мной эту операцию. В первые же дни я внес свое оживление и в общество моих новых знакомых. Едва ли эхо старой «каплицы» повторяло когда-нибудь такие громкие крики, как в это время, когда я старался расшевелить и завлечь в свои игры Валека и Марусю. Однако это удавалось плохо. Валек серьезно смотрел на меня и на девочку, и раз, когда я заставил ее бегать со мной взапуски, он сказал:

— Нет, она сейчас заплачет.

Действительно, когда я растормошил ее и заставил бежать, Маруся, заслышав мои шаги за собой, вдруг повернулась ко мне, подняв ручонки над головой, точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом захлопнутой пташки и громко заплакала. Я совсем растерялся.

— Вот, видишь,— сказал Валек,— она не любит играть.

Он усадил ее на траву, нарвал цветов и кинул ей; она перестала плакать и тихо перебирала растения, что-то говорила, обращаясь к золотистым лютикам, и подносила к губам синие колокольчики. Я тоже присмирел и лег рядом с Валеком около девочки.

— Отчего она такая? — спросил я, наконец, указывая глазами на Марусю.

— Невеселая? — переспросил Валек и затем сказал тоном совершенно убежденного человека: — А это, видишь ли, от серого камня.

— Да-а, — повторила девочка, точно слабое эхо, — это от серого камня.

— От какого серого камня? — переспросил я, не понимая.

— Серый камень высосал из нее жизнь, — пояснил опять Валек, по-прежнему смотря на небо. — Так говорит Тыбурций... Тыбурций хорошо знает.

— Да-а, — опять повторила тихим эхом девочка, — Тыбурций все знает.

Я ничего не понимал в этих загадочных словах, которые Валек повторял за Тыбурцием, однако аргумент, что Тыбурций все знает, произвел и на меня свое действие. Я приподнялся на локте и взглянул на Марусю. Она сидела в том же положении, в каком усадил ее Валек, и все так же перебирала цветы; движения ее тонких рук были медленны; глаза выделялись глубокою синевой на бледном лице; длинные ресницы были опущены. При взгляде на эту крохотную грустную фигурку мне стало ясно, что в словах Тыбурция, — хотя я и не понимал их значения, — заключается горькая правда. Несомненно, кто-то высасывает жизнь из этой странной девочки, которая плачет тогда, когда другие на ее месте смеются. Но как же может сделать это серый камень?

Это было для меня загадкой, страшнее всех призраков старого за́мка. Как ни ужасны были турки, томившиеся под землею, как ни грозен старый граф, усмирявший их в бурные ночи, но все они отзывались старою сказкой. А здесь что-то неведомо-страшное было налицо. Что-то бесформенное, неумолимое, твердое и жестокое, как камень, склонялось над маленькою головкой, высасывая из нее румянец, блеск глаз и живость движений. «Должно быть, это бывает по ночам», — думал я, и чувство щемящего до боли сожаления сжимало мне сердце.

Под влиянием этого чувства я тоже умерил свою резвость. Применяясь к тихой солидности нашей дамы, оба мы с Валеком, усадив ее где-нибудь на траве, собирали для нее цветы, разноцветные камешки, ловили бабочек, иногда делали из кирпичей ловушки для воробьев. Иногда же, растянувшись около нее на траве, смотрели в небо, как

плывут облака высоко над лохматою крышей старой «каплицы», рассказывали Марусе сказки или беседовали друг с другом.

Эти беседы с каждым днем все больше закрепляли нашу дружбу с Валеком, которая росла, несмотря на резкую противоположность наших характеров. Моей порывистой резвости он противопоставлял грустную солидность и внушал мне почтение своею авторитетностью и независимым тоном, с каким отзывался о старших. Кроме того, он часто сообщал мне много нового, о чем я раньше и не думал. Слыша, как он отзывается о Тыбурции, точно о товарище, я спросил:

— Тыбурций тебе отец?

— Должно быть, отец,— ответил он задумчиво, как будто этот вопрос не приходил ему в голову.

— Он тебя любит?

— Да, любит,— сказал он уже гораздо увереннее.— Он постоянно обо мне заботится и, знаешь, иногда он целует меня и плачет...

— И меня любит и тоже плачет,— прибавила Маруся с выражением детской гордости.

— А меня отец не любит,— сказал я грустно.— Он никогда не целовал меня... Он нехороший.

— Неправда, неправда,— возразил Валек,— ты не понимаешь. Тыбурций лучше знает. Он говорит, что судья — самый лучший человек в городе и что городу давно бы уже надо провалиться, если бы не твой отец, да еще поп, которого недавно посадили в монастырь, да еврейский раввин. Вот из-за них троих...

— Что из-за них?

— Город из-за них еще не провалился,— так говорит Тыбурций,— потому что они еще за бедных людей заступаются... А твой отец, знаешь... он засудил даже одного графа...

— Да, это правда... Граф очень сердился, я слышал.

— Ну, вот видишь! А ведь графа засудить не шутка.

— Почему?

— Почему?— переспросил Валек, несколько озадаченный...— Потому что граф — не простой человек... Граф делает, что хочет, и ездит в карете, и потом... у графа деньги; он дал бы другому судье денег, и тот бы его не засудил, а засудил бы бедного.

— Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире: «Я вас всех могу купить и продать!»

— А судья что?

— А отец говорит ему: «Подите от меня вон!»

— Ну вот, вот! И Тыбурций говорит, что он не побоится прогнать богатого, а когда к нему пришла старая Иваниха с костылем, он велел принести ей стул. Вот он какой! Даже и Туркевич не делал никогда под его окнами скандалов.

Это была правда: Туркевич во время своих обличительных экскурсий всегда молча проходил мимо наших окон, иногда даже снимая шапку.

Все это заставило меня глубоко задуматься. Валек указал мне моего отца с такой стороны, с какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него: слова Валека задели в моем сердце струну сыновней гордости; мне было приятно слушать похвалы моему отцу, да еще от имени Тыбурция, который «все знает»; но, вместе с тем, дрогнула в моем сердце и нота щемящей любви, смешанной с горьким сознанием: никогда этот человек не любил и не полюбит меня так, как Тыбурций любит своих детей.

VI. СРЕДИ «СЕРЫХ КАМНЕЙ»

Прошло еще несколько дней. Члены «дурного общества» перестали являться в город, и я напрасно шатался, скучая, по улицам, ожидая их появления, чтобы бежать на гору. Один только «профессор» прошел раза два своею сонною походкой, но ни Туркевича, ни Тыбурция не было видно. Я совсем соскучился, так как не видеть Валека и Марусю стало уже для меня большим лишением. Но вот, когда я однажды шел с опущенною головою по пыльной улице, Валек вдруг положил мне на плечо руку.

— Отчего ты перестал к нам ходить?— спросил он.

— Я боялся... Ваших не видно в городе.

— А-а... Я и не догадался сказать тебе: наших нет, приходи... А я было думал совсем другое.

— А что?

— Я думал, тебе наскучило.

— Нет, нет... Я, брат, сейчас побегу,— заторопился я,— даже и яблоки со мной.

При упоминании о яблоках Валек быстро повернулся ко мне, как будто хотел что-то сказать, но не сказал ничего, а только посмотрел на меня странным взглядом.

— Ничего, ничего,— отмахнулся он, видя, что я смотрю на него с ожиданием.— Ступай прямо на гору, а я тут зайду кое-куда,— дело есть. Я тебя догоню на дороге.

Я пошел тихо и часто оглядывался, ожидая, что Валек

меня догонит; однако я успел взойти на гору и подошел к часовне, а его все не было. Я остановился в недоумении: передо мной было только кладбище, пустынное и тихое, без малейших признаков обитаемости, только воробьи чирикали на свободе да густые кусты черемухи, жимолости и сирени, прижимаясь к южной стене часовни, о чем-то тихо шептались густо разросшеюся темной листвой.

Я оглянулся кругом. Куда же мне теперь идти? Очевидно, надо дождаться Валека. А пока я стал ходить между могилами, присматриваясь к ним от нечего делать и стараясь разобрать стертые надписи на обросших мхом надгробных камнях. Шатаясь таким образом от могилы к могиле, я наткнулся на полуразрушенный просторный склеп. Крыша его была сброшена или сорвана непогодой и валялась тут же. Дверь была заколочена. Из любопытства я приставил к стене старый крест и, взобравшись по нему, заглянул внутрь. Гробница была пуста, только в середине пола была вделана оконная рама со стеклами, и сквозь эти стекла зияла темная пустота подземелья.

Пока я рассматривал гробницу, удивляясь странному назначению окна, на гору вбежал запыхавшийся и усталый Валек. В руках у него была большая еврейская булка, за пазухой что-то оттопырилось, по лицу стекали капли пота.

— Ага! — крикнул он, заметив меня. — Ты вот где. Если бы Тыбурций тебя здесь увидел, то-то бы рассердился!.. Ну, да теперь уж делать нечего. Я знаю, ты хлопец хороший и никому не расскажешь, как мы живем. Пойдем к нам!

— Где же это, далеко? — спросил я.

— А вот увидишь. Ступай за мной.

Он раздвинул кусты жимолости и сирени и скрылся в зелени под стеной часовни; я последовал туда за ним и очутился на небольшой плотно утоптанной площадке, которая совершенно скрывалась в зелени. Между стволами черемухи я увидел в земле довольно большое отверстие с земляными ступенями, ведущими вниз. Валек спустился туда, приглашая меня за собой, и через несколько секунд мы оба очутились в темноте, под зеленью. Взяв мою руку, Валек повел меня по какому-то узкому сырому коридору, и, круто повернув вправо, мы вдруг вошли в просторное подземелье.

Я остановился у входа, пораженный невиданным зрели-

щем. Две струи света резко лились сверху, выделяясь полосами на темном фоне подземелья; свет этот проходил в два окна, одно из которых я видел в полу склепа, другое, подальше, очевидно, было пристроено таким же образом; лучи солнца проникали сюда не прямо, а прежде отражались от стен старых гробниц; они разливались в сыром воздухе подземелья, падали на каменные плиты пола, отражались и наполняли все подземелье тусклыми отблесками; стены тоже были сложены из камня; большие широкие колонны массивно вздымались снизу и, раскинув во все стороны свои каменные дуги, крепко смыкались кверху сводчатым потолком. На полу, в освещенных пространствах, сидели две фигуры. Старый «профессор», склонив голову и что-то бормоча про себя, ковырял иголкой в своих лохмотьях. Он не поднял даже головы, когда мы вошли в подземелье, и если бы не легкие движения руки, то эту серую фигуру можно было бы принять за фантастическое каменное изваяние.

Под другим окном сидела с кучкой цветов, перебирая их, по своему обыкновению, Маруся. Струя света падала на ее белокурую головку, заливала ее всю, но, несмотря на это, она как-то слабо выделялась на фоне серого камня странным и маленьким туманным пятнышком, которое, казалось, вот-вот расплывется и исчезнет. Когда там, вверху, над землей, пробегали облака, затеняя солнечный свет, стены подземелья тонули совсем в темноте, как будто раздвигались, уходили куда-то, а потом опять выступали жесткими, холодными камнями, смыкаясь крепкими объятиями над крохотною фигуркой девочки. Я поневоле вспомнил слова Валека о «сером камне», высасывавшем из Маруси ее веселье, и чувство суеверного страха закралось в мое сердце; мне казалось, что я ощущаю на ней и на себе невидимый каменный взгляд, пристальный и жадный. Мне казалось, что это подземелье чутко сторожит свою жертву.

— Валек! — тихо обрадовалась Маруся, увидев брата.

Когда же она заметила меня, в ее глазах блеснула живая искорка.

Я отдал ей яблоки, а Валек, разломив булку, часть подал ей, а другую снес «профессору». Несчастный ученый равнодушно взял это приношение и начал жевать, не отрываясь от своего занятия. Я переминался и ежился, чувствуя себя как будто связанным под гнетущими взглядами серого камня.

— Уйдем... уйдем отсюда,— дернул я Валека.— Уведи ее...

— Пойдем, Маруся, наверх,— позвал Валек сестру.

И мы втроем поднялись из подземелья, но и здесь, наверху, меня не оставляло ощущение какой-то напряженной неловкости. Валек был грустнее и молчаливее обыкновенного.

— Ты в городе остался затем, чтобы купить булок?— спросил я у него.

— Купить?— усмехнулся Валек.— Откуда же у меня деньги?

— Так как же? Ты выпросил?

— Да, выпросишь!.. Кто же мне даст?.. Нет, брат, я стянул их с лотка еврейки Суры на базаре! Она не заметила.

Он сказал это обыкновенным тоном, лежа врастяжку с заложенными под голову руками. Я приподнялся на локте и посмотрел на него.

— Ты, значит, украл?..

— Ну да!

Я опять откинулся на траву, и с минуту мы пролежали молча.

— Воровать нехорошо,— проговорил я затем в грустном раздумье.

— Наши все ушли... Маруся плакала, потому что она была голодна.

— Да, голодна!— с жалобным простодушием повторила девочка.

Я не знал еще, что такое голод, но при последних словах девочки у меня что-то повернулось в груди, и я посмотрел на своих друзей, точно увидал их впервые. Валек по-прежнему лежал на траве и задумчиво следил за парившим в небе ястребом. Теперь он не казался уже мне таким авторитетным, а при взгляде на Марусю, державшую обеими руками кусок булки, у меня заныло сердце.

— Почему же,— спросил я с усилием,— почему ты не сказал об этом мне?

— Я и хотел сказать, а потом раздумал; ведь у тебя своих денег нет.

— Ну так что же? Я взял бы булок из дому.

— Как, потихоньку?..

— Д-да.

— Значит, и ты бы тоже украл.

— Я... у своего отца.

— Это еще хуже!— с уверенностью сказал Валек.— Я никогда не ворую у своего отца.

— Ну, так я попросил бы... Мне бы дали.

— Ну, может быть, и дали бы один раз,— где же запастись на всех нищих?

— А вы разве... нищие?— спросил я упавшим голосом.

— Нищие!— угрюмо отрезал Валек.

Я замолчал и через несколько минут стал прощаться.

— Ты уж уходишь?— спросил Валек.

— Да, ухожу.

Я уходил потому, что не мог уже в этот день играть с моими друзьями по-прежнему, безмятежно. Чистая детская привязанность моя как-то замутилась... Хотя любовь моя к Валеку и Марусе не стала слабее, но к ней примешалась острая струя сожаления, доходившая до сердечной боли. Дома я рано лег в постель, потому что не знал, куда уложить новое болезненное чувство, переполнявшее душу. Уткнувшись в подушку, я горько плакал, пока крепкий сон не прогнал своим веянием моего глубокого горя.

VII. НА СЦЕНУ ЯВЛЯЕТСЯ ПАН ТЫБУРЦИЙ

— Здравствуй! А уж я думал, ты не придешь более,— так встретил меня Валек, когда я на следующий день опять явился на гору.

Я понял, почему он сказал это.

— Нет, я... я всегда буду ходить к вам,— ответил я решительно, чтобы раз навсегда покончить с этим вопросом.

Валек заметно повеселел, и оба мы почувствовали себя свободнее.

— Ну что? Где же ваши?— спросил я.— Все еще не вернулись?

— Нет еще. Черт их знает, где они пропадают.

И мы весело принялись за сооружение хитроумной ловушки для воробьев, для которой я принес с собой ниток. Нитку мы дали в руку Марусе, и когда неосторожный воробей, привлеченный зерном, беспечно заскакивал в западню, Маруся дергала нитку, и крышка захлопывала птичку, которую мы затем отпускали.

Между тем около полудня небо насупилось, надвинулась темная туча, и под веселые раскаты грома зашумел

ливень. Сначала мне очень не хотелось спускаться в подземелье, но потом, подумав, что ведь Валек и Маруся живут там постоянно, я победил неприятное ощущение и пошел туда вместе с ними. В подземелье было темно и тихо, но сверху слышно было, как перекатывался гулкий грохот грозы, точно кто ездил там в громадной телеге по гигантски сложенной мостовой. Через несколько минут я освоился с подземельем, и мы весело прислушивались, как земля принимала широкие потоки ливня; гул, всплески и частые раскаты настраивали наши нервы, вызывали оживление, требовавшее исхода.

— Давайте играть в жмурки,— предложил я.

Мне завязали глаза; Маруся звенела слабыми переливами своего жалкого смеха и шлепала по каменному полу непроворными ножонками, а я делал вид, что не могу поймать ее, как вдруг наткнулся на чью-то мокрую фигуру и в ту же минуту почувствовал, что кто-то схватил меня за ногу. Сильная рука приподняла меня с полу, и я повис в воздухе вниз головой. Повязка с глаз моих спала.

Тыбурций, мокрый и сердитый, страшнее еще оттого, что я глядел на него снизу, держал меня за ноги и дико вращал зрачками.

— Это что еще, а?— строго спрашивал он, глядя на Валека.— Вы тут, я вижу, весело проводите время... Завели приятную компанию.

— Пустите меня!— сказал я, удивляясь, что и в таком необычном положении я все-таки могу говорить, но рука пана Тыбурция только еще сильнее сжала мою ногу.

— Responde, ответствуй!— грозно обратился он опять к Валеку, который в этом затруднительном случае стоял, запихав в рот два пальца, как бы в доказательство того, что ему отвечать решительно нечего.

Я заметил только, что он сочувственным оком и с большим участием следил за моею несчастною фигурой, качавшеюся, подобно маятнику, в пространстве.

Пан Тыбурций приподнял меня и взглянул в лицо.

— Эге-ге! Пан судья, если меня не обманывают глаза... Зачем это изволили пожаловать?

— Пусти!— проговорил я упрямо.— Сейчас отпусти!— и при этом я сделал инстинктивное движение, как бы собираясь топнуть ногой, но от этого весь только забился в воздухе.

Тыбурций захохотал.

— Ого-го! Пан судья изволят сердиться... Ну, да ты

меня еще не знаешь. Ego — Тыбурций sum[1]. Я вот повешу тебя над огоньком и зажарю, как поросенка.

Я начинал думать, что действительно такова моя неизбежная участь, тем более, что отчаянная фигура Валека как бы подтверждала мысль о возможности такого печального исхода. К счастью, на выручку подоспела Маруся.

— Не бойся, Вася, не бойся!— ободрила она меня, подойдя к самым ногам Тыбурция.— Он никогда не жарит мальчиков на огне... Это неправда!

Тыбурций быстрым движением повернул меня и поставил на ноги; при этом я чуть не упал, так как у меня закружилась голова, но он поддержал меня рукой и затем, сев на деревянный обрубок, поставил меня между колен.

— И как это ты сюда попал?— продолжал он допрашивать.— Давно ли?.. Говори ты!— обратился он к Валеку, так как я ничего не ответил.

— Давно,— ответил тот.

— А как давно?

— Дней шесть.

Казалось, этот ответ доставил пану Тыбурцию некоторое удовольствие.

— Ого, шесть дней!— заговорил он, поворачивая меня лицом к себе.— Шесть дней много времени. И ты до сих пор никому еще не разболтал, куда ходишь?

— Никому.

— Правда?

— Никому,— повторил я.

— Bene, похвально!.. Можно рассчитывать, что не разболтаешь и вперед. Впрочем, я и всегда считал тебя порядочным малым, встречая на улицах. Настоящий «уличник», хоть и судья... А нас судить будешь, скажи-ка?

Он говорил довольно добродушно, но я все-таки чувствовал себя глубоко оскорбленным и потому ответил довольно сердито:

— Я вовсе не судья. Я — Вася.

— Одно другому не мешает, и Вася тоже может быть судьей,— не теперь, так после... Это уж, брат, так ведется исстари. Вот видишь ли: я — Тыбурций, а он — Валек. Я нищий, и он — нищий. Я, если уж говорить откровенно, краду, и он будет красть. А твой отец меня судит,— ну, и ты когда-нибудь будешь судить... вот его!

---

[1] Я — Тыбурций *(лат.).— Ред.*

— Не буду судить Валека,— возразил я угрюмо.— Неправда!

— Он не будет,— вступилась и Маруся, с полным убеждением отстраняя от меня ужасное подозрение.

Девочка доверчиво прижалась к ногам этого урода, а он ласково гладил жилистой рукой ее белокурые волосы.

— Ну, этого ты вперед не говори,— сказал странный человек задумчиво, обращаясь ко мне таким тоном, точно он говорил со взрослым.— Не говори, amice!..[1] Эта история ведется исстари, всякому свое, suum cuique; каждый идет своей дорожкой, и кто знает... может быть, это и хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу. Для тебя хорошо, amice, потому что иметь в груди кусочек человеческого сердца, вместо холодного камня... понимаешь?..

Я не понимал ничего, но все же впился глазами в лицо странного человека; глаза пана Тыбурция пристально смотрели в мои, и в них смутно мерцало что-то, как будто проникавшее в мою душу.

— Не понимаешь, конечно, потому что ты еще малец... Поэтому скажу тебе кратко, а ты когда-нибудь и вспомнишь слова философа Тыбурция: если когда-нибудь придется тебе судить вот его, то вспомни, что еще в то время, когда вы оба были дураками и играли вместе,— что уже тогда ты шел по дороге, по которой ходят в штанах и с хорошим запасом провизии, а он бежал по своей оборванцем-бесштанником и с пустым брюхом... Впрочем, пока еще это случится,— заговорил он, резко изменив тон,— запомни еще хорошенько вот что: если ты проболтаешься своему судье или хоть птице, которая пролетит мимо тебя в поле, о том, что ты здесь видел, то не будь я Тыбурций Драб, если я тебя не повешу вот в этом камине за ноги и не сделаю из тебя копченого окорока. Это ты, надеюсь, понял?

— Я не скажу никому... я... Можно мне опять прийти?

— Приходи, разрешаю... sub conditionem...[2] Впрочем, ты еще глуп и латыни не понимаешь. Я уже сказал тебе насчет окорока. Помни!..

Он отпустил меня и сам растянулся с усталым видом на длинной лавке, стоявшей около стенки.

---

[1] Друг *(лат.)* — *Ред.*

[2] С условием *(лат.)* — *Ред.*

— Возьми вон там,— указал он Валеку на большую корзину, которую, войдя, оставил у порога,— да разведи огонь. Мы будем сегодня варить обед.

Теперь это уже был не тот человек, что за минуту пугал меня, вращая зрачками, и не гаер, потешавший публику из-за подачек. Он распоряжался, как хозяин и глава семейства, вернувшийся с работы и отдающий приказания домочадцам.

Он казался сильно уставшим. Платье его было мокро от дождя, лицо тоже; волосы слиплись на лбу, во всей фигуре виднелось тяжелое утомление. Я в первый раз видел это выражение на лице веселого оратора городских кабаков, и опять этот взгляд за кулисы, на актера, изнеможенно отдыхавшего после тяжелой роли, которую он разыгрывал на житейской сцене, как будто влил что-то жуткое в мое сердце. Это было еще одно из тех откровений, какими так щедро наделяла меня старая униатская «каплица».

Мы с Валеком живо принялись за работу. Валек зажег лучину, и мы отправились с ним в темный коридор, примыкавший к подземелью. Там в углу были свалены куски полуистлевшего дерева, обломки крестов, старые доски; из этого запаса мы взяли несколько кусков и, поставив их в камин, развели огонек. Затем мне пришлось отступиться, и Валек один умелыми руками принялся за стряпню. Через полчаса на камине закипало уже в горшке какое-то варево, а в ожидании, пока оно поспеет, Валек поставил на трехногий, кое-как сколоченный столик сковороду, на которой дымились куски жареного мяса.

Тыбурций поднялся.

— Готово?— сказал он.— Ну, и отлично. Садись малый, с нами,— ты заработал свой обед... Domine preceptor![1] — крикнул он затем, обращаясь к «профессору».— Брось иголку, садись к столу.

— Сейчас,— сказал тихим голосом «профессор», удивив меня этим сознательным ответом.

Впрочем, искра сознания, вызванная голосом Тыбурция, не проявлялась ничем больше. Старик воткнул иголку в лохмотья и равнодушно, с тусклым взглядом, уселся на один из деревянных обрубков, заменявших в подземелье стулья.

Марусю Тыбурций держал на руках. Она и Валек ели

---

[1] Господин наставник *(лат.)* — *Ред.*

с жадностью, которая ясно показывала, что мясное блюдо было для них невиданною роскошью; Маруся облизывала даже свои засаленные пальцы. Тыбурций ел с расстановкой и, повинуясь, по-видимому, неодолимой потребности говорить, то и дело обращался к «профессору» со своей беседой. Бедный ученый проявлял при этом удивительное внимание и, наклонив голову, выслушивал все с таким разумным видом, как будто он понимал каждое слово. Иногда даже он выражал свое согласие кивками головы и тихим мычанием.

— Вот, domine, как немного нужно человеку,— говорил Тыбурций.— Не правда ли? Вот мы и сыты, и теперь нам остается только поблагодарить бога и клеванского капеллана...

— Ага, ага!— поддакивал «профессор».

— Ты это, domine, поддакиваешь, а сам не понимаешь, при чем тут клеванский капеллан,— я ведь тебя знаю... А между тем не будь клеванского капеллана, у нас не было бы жаркого и еще кое-чего...

— Это вам дал клеванский ксендз?— спросил я, вспомнив вдруг круглое добродушное лицо клеванского «пробоща», бывавшего у отца.

— У этого малого, domine, любознательный ум,— продолжал Тыбурций, по-прежнему обращаясь к «профессору».— Действительно, его священство дал нам все это, хотя мы у него и не просили, и даже, быть может, не только его левая рука не знала, что дает правая, но и обе руки не имели об этом ни малейшего понятия... Кушай, domine, кушай!

Из этой странной и запутанной речи я понял только, что и способ приобретения был не совсем обыкновенный, и не удержался, чтоб еще раз не вставить вопроса:

— Вы это взяли... сами?

— Малый не лишен проницательности,— продолжал опять Тыбурций по-прежнему,— жаль только, что он не видел капеллана: у капеллана брюхо, как настоящая сороковая бочка, и, стало быть, объедение ему очень вредно. Между тем мы все, здесь находящиеся, страдаем скорее излишнею худобой, а потому некоторое количество провизии не можем считать для себя лишним... Так ли я говорю, domine?

— Ага, ага!— задумчиво промычал опять «профессор».

— Ну вот! На этот раз вы выразили свое мнение очень удачно, а то я уже начинал думать, что у этого малого ум бойчее, чем у некоторых ученых... Возвращаясь, однако, к капеллану, я думаю, что добрый урок стоит платы, и в таком случае мы можем сказать, что купили у него провизию: если он после этого сделает в амбаре двери покрепче, то вот мы и квиты... Впрочем,— повернулся он вдруг ко мне,— ты все-таки еще глуп и многого не понимаешь. А вот она понимает: скажи, моя Маруся, хорошо ли я сделал, что принес тебе жаркое?

— Хорошо!— ответила девочка, слегка сверкнув бирюзовыми глазами.— Маня была голодна.

Под вечер этого дня я с отуманенною головой задумчиво возвращался к себе. Странные речи Тыбурция ни на одну минуту не поколебали во мне убеждения, что «воровать нехорошо». Напротив, болезненное ощущение, которое я испытывал раньше, еще усилилось. Нищие... воры... у них нет дома!.. От окружающих я давно уже знал, что со всем этим соединяется презрение. Я даже чувствовал, как из глубины души во мне подымается вся горечь презрения, но я инстинктивно защищал мою привязанность от этой горькой примеси, не давая им слиться. В результате смутного душевного процесса — сожаление к Валеку и Марусе усилилось и обострилось, но привязанность не исчезла. Формула «нехорошо воровать» осталась. Но, когда воображение рисовало мне оживленное личико моей приятельницы, облизывавшей свои засаленные пальцы, я радовался ее радостью и радостью Валека.

В темной аллейке сада я нечаянно наткнулся на отца. Он по обыкновению угрюмо ходил взад и вперед с обычным странным, как будто отуманенным взглядом. Когда я очутился подле него, он взял меня за плечо.

— Откуда это?

— Я... гулял...

Он внимательно посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но потом взгляд его опять затуманился, и, махнув рукой, он зашагал по аллее. Мне кажется, что я и тогда понимал смысл этого жеста:

— А, все равно... *Ее* уж нет!..

Я солгал чуть ли не первый раз в жизни.

Я всегда боялся отца, а теперь тем более. Теперь я носил в себе целый мир смутных вопросов и ощущений. Мог ли он понять меня? Мог ли я в чем-либо признаться ему, не изменяя своим друзьям? Я дрожал при мысли, что он

узнает когда-либо о моем знакомстве с «дурным обществом», но изменить этому обществу, изменить Валеку и Марусе — я был не в состоянии. К тому же здесь было тоже нечто вроде «принципа»: если б я изменил им, нарушив данное слово, то не мог бы при встрече поднять на них глаз от стыда.

VIII. ОСЕНЬЮ

Близилась осень. В поле шла жатва, листья на деревьях желтели. Вместе с тем наша Маруся начала прихварывать.

Она ни на что не жаловалась, только все худела; лицо ее все бледнело, глаза потемнели, стали больше, веки приподнимались с трудом.

Теперь я мог приходить на гору, не стесняясь тем, что члены «дурного общества» бывали дома. Я совершенно свыкся с ними и стал на горе своим человеком.

— Ты славный хлопец и когда-нибудь тоже будешь генералом,— говаривал Туркевич.

Темные молодые личности делали мне из вяза луки и самострелы; высокий штык-юнкер с красным носом вертел меня на вóздухе, как щепку, приучая к гимнастике. Только «профессор» по-всегдашнему был погружен в какие-то глубокие соображения, а Лавровский в трезвом состоянии вообще избегал людского общества и жался по углам.

Все эти люди помещались отдельно от Тыбурция, который занимал «с семейством» описанное выше подземелье. Остальные члены «дурного общества» жили в таком же подземелье, побольше, которое отделялось от первого двумя узкими коридорами. Свету здесь было меньше, больше сырости и мрака. Вдоль стен кое-где стояли деревянные лавки и обрубки, заменявшие стулья. Скамейки были завалены какими-то лохмотьями, заменявшими постели. В середине, в освещенном месте, стоял верстак, на котором по временам пан Тыбурций или кто-либо из темных личностей работали столярные поделки; был среди «дурного общества» и сапожник и корзинщик, но, кроме Тыбурция, все остальные ремесленники были или дилетанты, или же какие-нибудь заморыши, или люди, у которых, как я замечал, слишком сильно тряслись руки, чтобы работа могла идти успешно. Пол этого подземелья был закидан стружками и всякими обрезками;

всюду виднелись грязь и беспорядок, хотя по временам Тыбурций за это сильно ругался и заставлял кого-нибудь из жильцов подмести и хотя сколько-нибудь убрать это мрачное жилье. Я не часто заходил сюда, так как не мог привыкнуть к затхлому воздуху, и, кроме того, в трезвые минуты здесь имел пребывание мрачный Лавровский. Он обыкновенно или сидел на лавочке, спрятав лицо в ладони и раскидав свои длинные волосы, или ходил из угла в угол быстрыми шагами. От этой фигуры веяло чем-то тяжелым и мрачным, чего не выносили мои нервы. Но остальные сожители-бедняги давно уже свыклись с его странностями. Генерал Туркевич заставлял его иногда переписывать набело сочиняемые самим Туркевичем прошения и кляузы для обывателей или же шуточные пасквили, которые потом развешивал на фонарных столбах. Лавровский покорно садился за столик в комнате Тыбурция и по целым часам выводил прекрасным почерком ровные строки. Раза два мне довелось видеть, как его, бесчувственно пьяного, тащили сверху в подземелье. Голова несчастного, свесившись, болталась из стороны в сторону, ноги бессильно тащились и стучали по каменным ступенькам, на лице виднелось выражение страдания, по щекам текли слезы. Мы с Марусей, крепко прижавшись друг к другу, смотрели на эту сцену из дальнего угла; но Валек совершенно свободно шнырял между большими, поддерживая то руку, то ногу, то голову Лавровского.

Все, что на улицах меня забавляло и интересовало в этих людях, как балаганное представление,— здесь, за кулисами, являлось в своем настоящем, неприкрашенном виде и тяжело угнетало детское сердце.

Тыбурций пользовался здесь непререкаемым авторитетом. Он открыл эти подземелья, он здесь распоряжался, и все его приказания исполнялись. Вероятно, поэтому именно я не припомню ни одного случая, когда бы кто-либо из этих людей, несомненно потерявших человеческий облик, обратился ко мне с каким-нибудь дурным предложением. Теперь, умудренный прозаическим опытом жизни, я знаю, конечно, что там был мелкий разврат, грошовые пороки и гниль. Но когда эти люди и эти картины встают в моей памяти, затянутые дымкой прошедшего, я вижу только черты тяжелого трагизма, глубокого горя и нужды.

Детство, юность — это великие источники идеализма!

Осень все больше вступала в свои права. Небо все

чаще заволакивалось тучами, окрестности тонули в туманном сумраке; потоки дождя шумно лились на землю, отдаваясь однообразным и грустным гулом в подземельях.

Мне стоило много труда урываться из дому в такую погоду; впрочем, я только старался уйти незамеченным; когда же возвращался домой весь вымокший, то сам развешивал платье против камина и смиренно ложился в постель, философски отмалчиваясь под целым градом упреков, которые лились из уст нянек и служанок.

Каждый раз, придя к своим друзьям, я замечал, что Маруся все больше хиреет. Теперь она совсем уже не выходила на воздух, и серый камень — темное, молчаливое чудовище подземелья — продолжал без перерывов свою ужасную работу, высасывая жизнь из маленького тельца. Девочка теперь бо́льшую часть времени проводила в постели, и мы с Валеком истощали все усилия, чтобы развлечь ее и позабавить, чтобы вызвать тихие переливы ее слабого смеха.

Теперь, когда я окончательно сжился с «дурным обществом», грустная улыбка Маруси стала мне почти так же дорога, как улыбка сестры; но тут никто не ставил мне вечно на вид мою испорченность, тут не было ворчливой няньки, тут я был нужен,— я чувствовал, что каждый раз мое появление вызывает румянец оживления на щеках девочки. Валек обнимал меня, как брата, и даже Тыбурций по временам смотрел на нас троих какими-то странными глазами, в которых что-то мерцало, точно слеза.

На время небо опять прояснилось; с него сбежали последние тучи, и над просыхающей землей, в последний раз перед наступлением зимы, засияли солнечные дни. Мы каждый день выносили Марусю наверх, и здесь она как будто оживала; девочка смотрела вокруг широко раскрытыми глазами, на щеках ее загорался румянец; казалось, что ветер, обдававший ее своими свежими взмахами, возвращал ей частицы жизни, похищенные серыми камнями подземелья. Но это продолжалось так недолго...

Между тем над моей головой тоже стали собираться тучи.

Однажды, когда я, по обыкновению, утром проходил по аллеям сада, я увидел в одной из них отца, а рядом старого Януша из за́мка. Старик подобострастно кланялся

и что-то говорил, а отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка нетерпеливого гнева. Наконец он протянул руку, как бы отстраняя Януша с своей дороги, и сказал:

— Уходите! Вы просто старый сплетник!

Старик как-то заморгал и, держа шапку в руках, опять забежал вперед и загородил отцу дорогу. Глаза отца сверкнули гневом. Януш говорил тихо, и слов его мне не было слышно, зато отрывочные фразы отца доносились ясно, падая точно удары хлыста.

— Не верю ни одному слову... Что вам надо от этих людей? Где доказательства?.. Словесных доносов я не слушаю, а письменный вы обязаны доказать... Молчать! это уж мое дело... Не желаю и слушать.

Наконец он так решительно отстранил Януша, что тот не посмел более надоедать ему; отец повернул в боковую аллею, а я побежал к калитке.

Я сильно недолюбливал старого филина из за́мка, и теперь сердце мое дрогнуло предчувствием. Я понял, что подслушанный мною разговор относился к моим друзьям и, быть может, также ко мне.

Тыбурций, которому я рассказал об этом случае, скорчил ужасную гримасу:

— У-уф, малый, какая это неприятная новость!.. О, проклятая старая гиена.

— Отец его прогнал,— заметил я в виде утешения.

— Твой отец, малый, самый лучший из всех судей, начиная от царя Соломона... Однако знаешь ли ты, что такое curriculum vitae?[1] Не знаешь, конечно. Ну, а формулярный список знаешь? Ну, вот видишь ли: curriculum vitae — это есть формулярный список человека, не служившего в уездном суде... И если только старый сыч коечто пронюхал и сможет доставить твоему отцу мой список, то... ах, клянусь богородицей, не желал бы я попасть к судье в лапы!..

— Разве он... злой?— спросил я, вспомнив отзывы Валека.

— Нет, нет, малый! Храни тебя бог подумать это об отце. У твоего отца есть сердце, он знает много... Быть может, он уже знает все, что может сказать ему Януш, но он молчит; он не считает нужным травить старого

---

[1] Краткое жизнеописание *(лат.)* — *Ред.*

беззубого зверя в его последней берлоге... Но, малый, как бы тебе объяснить это? Твой отец служит господину, которого имя — закон. У него есть глаза и сердце только до тех пор, пока закон спит себе на полках: когда же этот господин сойдет оттуда и скажет твоему отцу: «А ну-ка, судья, не взяться ли нам за Тыбурция Драба или как там его зовут?» — с этого момента судья тотчас запирает свое сердце на ключ, и тогда у судьи такие твердые лапы, что скорее мир повернется в другую сторону, чем пан Тыбурций вывернется из его рук... Понимаешь ты, малый?.. И за это я и все еще больше уважаем твоего отца, потому что он верный слуга своего господина, а такие люди редки. Будь у закона все такие слуги, он мог бы спать себе спокойно на своих полках и никогда не просыпаться... Вся беда моя в том, что у меня с законом вышла когда-то, давно уже, некоторая суспиция... то есть, понимаешь, неожиданная ссора... ах, малый, очень это была крупная ссора!

С этими словами Тыбурций встал, взял на руки Марусю и, отойдя с нею в дальний угол, стал целовать ее, прижимаясь своею безобразной головой к ее маленькой груди. А я остался на месте и долго стоял в одном положении под впечатлением странных речей странного человека. Несмотря на причудливые и непонятные обороты, я отлично схватил сущность того, что говорил об отце Тыбурций, и фигура отца в моем представлении еще выросла, облеклась ореолом грозной, но симпатичной силы и даже какого-то величия. Но вместе с тем усиливалось и другое, горькое чувство...

«Вот он какой,— думалось мне,— но все же он меня не любит».

IX. КУКЛА

Ясные дни миновали, и Марусе опять стало хуже. На все наши ухищрения, с целью занять ее, она смотрела равнодушно своими большими потемневшими и неподвижными глазами, и мы давно уже не слышали ее смеха. Я стал носить в подземелье свои игрушки, но и они развлекали девочку только на короткое время. Тогда я решился обратиться к своей сестре Соне.

У Сони была большая кукла, с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами, подарок покойной матери. На эту куклу я возлагал большие надежды

и потому, отозвав сестру в боковую аллейку сада, попросил дать мне ее на время. Я так убедительно просил ее об этом, так живо описал ей бедную больную девочку, у которой никогда не было своих игрушек, что Соня, которая сначала только прижимала куклу к себе, отдала мне ее и обещала в течение двух-трех дней играть другими игрушками, ничего не упоминая о кукле.

Действие этой нарядной фаянсовой барышни на нашу больную превзошло все мои ожидания. Маруся, которая увядала, как цветок осенью, казалось, вдруг опять ожила. Она так крепко меня обнимала, так звонко смеялась, разговаривая со своею новою знакомой... Маленькая кукла сделала почти чудо: Маруся, давно уже не сходившая с постели, стала ходить, водя за собой свою белокурую дочку, и по временам даже бегала, по-прежнему шлепая по полу слабыми ногами.

Зато мне эта кукла доставила очень много тревожных минут. Прежде всего, когда я нес ее за пазухой, направляясь с нею на гору, в дороге мне попался старый Януш, который долго провожал меня глазами и качал головой. Потом дня через два старушка няня заметила пропажу и стала соваться по углам, везде разыскивая куклу. Соня старалась унять ее, но своими наивными уверениями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернется, только вызывала недоумение служанок и возбуждала подозрение, что тут не простая пропажа. Отец ничего еще не знал, но к нему опять приходил Януш и был прогнан на этот раз с еще бо́льшим гневом; однако в тот же день отец остановил меня на пути к садовой калитке и велел остаться дома. На следующий день повторилось то же, и только через четыре дня я встал рано утром и махнул через забор, пока отец еще спал.

На горе дела опять были плохи. Маруся опять слегла, и ей стало еще хуже; лицо ее горело странным румянцем, белокурые волосы раскидались по подушке; она никого не узнавала. Рядом с ней лежала злополучная кукла, с розовыми щеками и глупыми блестящими глазами.

Я сообщил Валеку свои опасения, и мы решили, что куклу необходимо унести обратно, тем более что Маруся этого и не заметит. Но мы ошиблись! Как только я вынул куклу из рук лежащей в забытьи девочки, она открыла глаза, посмотрела перед собой смутным взглядом, как будто не видя меня, не сознавая, что с ней происходит,

и вдруг заплакала тихо-тихо, но вместе с тем так жалобно, и в исхудалом лице, под покровом бреда, мелькнуло выражение такого глубокого горя, что я тотчас же с испугом положил куклу на прежнее место. Девочка улыбнулась, прижала куклу к себе и успокоилась. Я понял, что хотел лишить моего маленького друга первой и последней радости ее недолгой жизни.

Валек робко посмотрел на меня.

— Как же теперь будет? — спросил он грустно.

Тыбурций, сидя на лавочке с печально понуренною головой, также смотрел на меня вопросительным взглядом. Поэтому я постарался придать себе вид по возможности беспечный и сказал:

— Ничего! Нянька, наверное, уж забыла.

Но старуха не забыла. Когда я на этот раз возвратился домой, у калитки мне опять попался Януш; Соню я застал с заплаканными глазами, а нянька кинула на меня сердитый, подавляющий взгляд и что-то ворчала беззубым, шамкающим ртом.

Отец спросил у меня, куда я ходил, и, выслушав внимательно обычный ответ, ограничился тем, что повторил мне приказ ни под каким видом не отлучаться из дому без его позволения. Приказ был категоричен и очень решителен; ослушаться его я не посмел, но не решался также и обратиться к отцу за позволением.

Прошло четыре томительных дня. Я грустно ходил по саду и с тоской смотрел по направлению к горе, ожидая, кроме того, грозы, которая собиралась над моей головой. Что будет, я не знал, но на сердце у меня было тяжело. Меня в жизни никто еще не наказывал; отец не только не трогал меня пальцем, но я от него не слышал никогда ни одного резкого слова. Теперь меня томило тяжелое предчувствие.

Наконец меня позвали к отцу, в его кабинет. Я вошел и робко остановился у притолоки. В окно заглядывало грустное осеннее солнце. Отец некоторое время сидел в своем кресле перед портретом матери и не поворачивался ко мне. Я слышал тревожный стук собственного сердца.

Наконец он повернулся. Я поднял на него глаза и тотчас же их опустил в землю. Лицо отца показалось мне страшным. Прошло около полминуты, и в течение этого времени я чувствовал на себе тяжелый, неподвижный, подавляющий взгляд.

— Ты взял у сестры куклу?

Эти слова упали вдруг на меня так отчетливо и резко, что я вздрогнул.

— Да,— ответил я тихо.

— А знаешь ты, что это подарок матери, которым ты должен бы дорожить, как святыней?.. Ты украл ее?

— Нет,— сказал я, подымая голову.

— Как нет? — вскрикнул вдруг отец, отталкивая кресло.— Ты украл ее и снес!.. Кому ты снес ее?.. Говори!

Он быстро подошел ко мне и положил мне на плечо тяжелую руку. Я с усилием поднял голову и взглянул вверх. Лицо отца было бледно. Складка боли, которая со смерти матери залегла у него между бровями, не разгладилась и теперь, но глаза горели гневом. Я весь съежился. Из этих глаз, глаз отца, глянуло на меня, как мне показалось, безумие или... ненависть.

— Ну, что ж ты?.. Говори! — и рука, державшая мое плечо, сжала его сильнее.

— Н-не скажу,— ответил я тихо.

— Нет, скажешь! — отчеканил отец, и в голосе его зазвучала угроза.

— Не скажу,— прошептал я еще тише.

— Скажешь, скажешь!..

Он повторил это слово сдавленным голосом, точно оно вырвалось у него с болью и усилием. Я чувствовал, как дрожала его рука, и, казалось, слышал даже клокотавшее в груди его бешенство. И я все ниже опускал голову, и слезы одна за другой капали из моих глаз на пол, но я все повторял едва слышно:

— Нет, не скажу... никогда, никогда не скажу вам... Ни за что!

В эту минуту во мне сказался сын моего отца. Он не добился бы от меня иного ответа самыми страшными муками. В моей груди, навстречу его угрозам, подымалось едва сознанное оскорбленное чувство покинутого ребенка и какая-то жгучая любовь к тем, кто меня пригрел там, в старой часовне.

Отец тяжело перевел дух. Я съежился еще более, горькие слезы жгли мои щеки. Я ждал.

Изобразить чувство, которое я испытывал в то время, очень трудно. Я знал, что он страшно вспыльчив, что в эту минуту в его груди кипит бешенство, что, может быть, через секунду мое тело забьется беспомощно в его

сильных и исступленных руках. Что он со мной сделает? — швырнет... изломает; но мне теперь кажется, что я боялся не этого... Даже в эту страшную минуту я любил этого человека, но вместе с тем инстинктивно чувствовал, что вот сейчас он бешеным насилием разобьет мою любовь вдребезги, что затем, пока я буду жить, в его руках и после, навсегда, навсегда в моем сердце вспыхнет та же пламенная ненависть, которая мелькнула для меня в его мрачных глазах.

Теперь я совсем перестал бояться; в моей груди защекотало что-то вроде задорного, дерзкого вызова... Кажется, я ждал и желал, чтобы катастрофа, наконец, разразилась. Если так... пусть... тем лучше, да, тем лучше... тем лучше...

Отец опять тяжело вздохнул. Я уже не смотрел на него, только слышал этот вздох — тяжелый, прерывистый, долгий... Справился ли он сам с овладевшим им исступлением, или это чувство не получило исхода благодаря последующему неожиданному обстоятельству, я и до сих пор не знаю. Знаю только, что в эту критическую минуту раздался вдруг за открытым окном резкий голос Тыбурция:

— Эге-ге!.. мой бедный маленький друг...

«Тыбурций пришел!» — промелькнуло у меня в голове, но этот приход не произвел на меня никакого впечатления. Я весь превратился в ожидание, и, даже чувствуя, как дрогнула рука отца, лежавшая на моем плече, я не представлял себе, чтобы появление Тыбурция или какое бы то ни было другое внешнее обстоятельство могло стать между мною и отцом, могло отклонить то, что я считал неизбежным и чего ждал с приливом задорного ответного гнева.

Между тем Тыбурций быстро отпер входную дверь и, остановившись на пороге, в одну секунду оглядел нас обоих своими острыми рысьими глазами. Я до сих пор помню малейшую черту этой сцены. На мгновение в зеленоватых глазах, в широком некрасивом лице уличного оратора мелькнула холодная и злорадная насмешка, но это было только на мгновение. Затем он покачал головой, и в его голосе зазвучала скорее грусть, чем обычная ирония.

— Эге-ге!.. Я вижу моего молодого друга в очень затруднительном положении...

Отец встретил его мрачным и удивленным взглядом,

но Тыбурций выдержал этот взгляд спокойно. Теперь он был серьезен, не кривлялся, и глаза его глядели как-то особенно грустно.

— Пан судья! — заговорил он мягко.— Вы человек справедливый... отпустите ребенка. Малый был в «дурном обществе», но, видит бог, он не сделал дурного дела, и если его сердце лежит к моим оборванным беднягам, то, клянусь богородицей, лучше велите меня повесить, но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, малый!..

Он развязал узелок и вынул оттуда куклу.

Рука отца, державшая мое плечо, разжалась. В лице виднелось изумление.

— Что это значит? — спросил он наконец.

— Отпустите мальчика,— повторил Тыбурций, и его широкая ладонь любовно погладила мою опущенную голову.— Вы ничего не добьетесь от него угрозами, а между тем я охотно расскажу вам все, что вы желаете знать... Выйдем, пан судья, в другую комнату.

Отец, все время смотревший на Тыбурция удивленными глазами, повиновался. Оба они вышли, а я остался на месте, подавленный ощущениями, переполнившими мое сердце. В эту минуту я ни в чем не отдавал себе отчета, и если теперь я помню все детали этой сцены, если я помню даже, как за окном возились воробьи, а с речки доносился мерный плеск весел,— то это просто механическое действие памяти. Ничего этого тогда для меня не существовало; был только маленький мальчик, в сердце которого встряхнули два разнородные чувства: гнев и любовь,— так сильно, что это сердце замутилось, как мутятся от толчка в стакане две отстоявшиеся разнородные жидкости. Был такой мальчик, и этот мальчик был я, и мне самому себя было как будто жалко. Да еще были два голоса, смутным, хотя и оживленным говором звучавшие за дверью...

Я все еще стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась, и оба собеседника вошли. Я опять почувствовал на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы.

Тыбурций взял меня на руки и посадил в присутствии отца к себе на колени.

— Приходи к нам,— сказал он,— отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой. Она... она умерла.

Голос Тыбурция дрогнул, он странно заморгал глазами,

но тотчас же встал, поставил меня на пол, выпрямился и быстро ушел из комнаты.

Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь передо мной стоял другой человек, но в этом именно человеке я нашел что-то родное, чего тщетно искал в нем прежде. Он смотрел на меня обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок удивления и как будто вопрос. Казалось, буря, которая только что пронеслась над нами обоими, рассеяла тяжелый туман, нависший над душой отца, застилавший его добрый и любящий взгляд... И отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына.

Я доверчиво взял его руку и сказал:

— Я ведь не украл... Соня сама дала мне на время...

— Д-да,— ответил он задумчиво,— я знаю... Я виноват перед тобою, мальчик, и ты постараешься когда-нибудь забыть это, не правда ли?

Я с живостью схватил его руку и стал ее целовать. Я знал, что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня теми страшными глазами, какими смотрел за несколько минут перед тем, и долго сдерживаемая любовь хлынула целым потоком в мое сердце.

Теперь я его уже не боялся.

— Ты отпустишь меня теперь на гору? — спросил я, вспомнив вдруг приглашение Тыбурция.

— Д-да... Ступай, ступай, мальчик, попрощайся...— ласково проговорил он все еще с тем же оттенком недоумения в голосе.— Да, впрочем, постой... пожалуйста, мальчик, погоди немного.

Он ушел в свою спальню и, через минуту выйдя оттуда, сунул мне в руку несколько бумажек.

— Передай это... Тыбурцию... Скажи, что я покорнейше прошу его,— понимаешь?.. покорнейше прошу — взять эти деньги... от тебя... Ты понял? Да еще скажи,— добавил отец, как будто колеблясь,— скажи, что если он знает одного тут... Федоровича, то пусть скажет, что этому Федоровичу лучше уйти из нашего города... Теперь ступай, мальчик, ступай скорее.

Я догнал Тыбурция уже на горе и, запыхавшись, нескладно исполнил поручение отца.

— Покорнейше просит... отец...— и я стал совать ему в руку данные отцом деньги.

Я не глядел ему в лицо. Деньги он взял и мрачно выслушал дальнейшее поручение относительно Федоровича.

В подземелье, в темном углу, на лавочке лежала Маруся. Слово «смерть» не имеет еще полного значения для детского слуха, и горькие слезы только теперь, при виде этого безжизненного тела, сдавили мне горло. Моя маленькая приятельница лежала серьезная и грустная, с печально вытянутым личиком. Закрытые глаза слегка ввалились и еще резче оттенились синевой. Ротик немного раскрылся, с выражением детской печали. Маруся как будто отвечала этою гримаской на наши слезы.

«Профессор» стоял у изголовья и безучастно качал головой. Штык-юнкер стучал в углу топором, готовя, с помощью нескольких темных личностей, гробик из старых досок, сорванных с крыши часовни. Лавровский, трезвый и с выражением полного сознания, убирал Марусю собранными им самим осенними цветами. Валек спал в углу, вздрагивая сквозь сон всем телом, и по временам нервно всхлипывал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вскоре после описанных событий члены «дурного общества» рассеялись в разные стороны. Остались только «профессор», по-прежнему, до самой смерти, слонявшийся по улицам города, да Туркевич, которому отец давал по временам кое-какую письменную работу. Я с своей стороны пролил немало крови в битвах с еврейскими мальчишками, терзавшими «профессора» напоминанием о режущих и колющих орудиях.

Штык-юнкер и темные личности отправились куда-то искать счастия. Тыбурций и Валек совершенно неожиданно исчезли, и никто не мог сказать, куда они направились теперь, как никто не знал, откуда они пришли в наш город.

Старая часовня сильно пострадала от времени. Сначала у нее провалилась крыша, продавив потолок подземелья. Потом вокруг часовни стали образовываться обвалы, и она стала еще мрачнее; еще громче завывают в ней филины, а огни на могилах темными осенними ночами вспыхивают синим зловещим светом.

Только одна могила, огороженная частоколом, каждую весну зеленела свежим дерном, пестрела цветами.

Мы с Соней, а иногда даже с отцом, посещали эту могилу; мы любили сидеть на ней в тени смутно лепечущей

березы, в виду тихо сверкавшего в тумане города. Тут мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности.

Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город, здесь же в последний день мы оба, полные жизни и надежды, произносили над маленькою могилкой свои обеты.

1885



«ЛЕС ШУМИТ»

Полесская легенда

Было и быльем поросло.

I

Лес шумел...

В этом лесу всегда стоял шум — ровный, протяжный, как отголосок дальнего звона, спокойный и смутный, как тихая песня без слов, как неясное воспоминание о прошедшем. В нем всегда стоял шум, потому что это был старый, дремучий бор, которого не касались еще пила и топор лесного барышника. Высокие столетние сосны с красными могучими стволами стояли хмурою ратью, плотно сомк-

нувшись вверху зелеными вершинами. Внизу было тихо, пахло смолой; сквозь полог сосновых игол, которыми была усыпана почва, пробились яркие папоротники, пышно раскинувшиеся причудливою бахромой и стоявшие недвижимо, не шелохнув листом. В сырых уголках тянулись высокими стеблями зеленые травы; белая кашка склонялась отяжелевшими головками, как будто в тихой истоме. А вверху, без конца и перерыва, тянул лесной шум, точно смутные вздохи старого бора.

Но теперь эти вздохи становились все глубже, сильнее. Я ехал лесною тропой, и, хотя неба мне не было видно, но по тому, как хмурился лес, я чувствовал, что над ним тихо подымается тяжелая туча. Время было не раннее. Между стволов кое-где пробивался еще косой луч заката, но в чащах расползались уже мглистые сумерки. К вечеру собиралась гроза.

На сегодня нужно было уже отложить всякую мысль об охоте; впору было только добраться перед грозой до ночлега. Мой конь постукивал копытом в обнажившиеся корни, храпел и настораживал уши, прислушиваясь к гулко щелкающему лесному эхо. Он сам прибавлял шагу к знакомой лесной сторожке.

Залаяла собака. Между поредевшими стволами мелькают мазаные стены. Синяя струйка дыма вьется под нависшею зеленью; покосившаяся изба с лохматою крышей приютилась под стеной красных стволов: она как будто врастает в землю, между тем как стройные и гордые сосны высоко покачивают над ней своими головами. Посредине поляны, плотно примкнувшись друг к другу, стоит кучка молодых дубов.

Здесь живут обычные спутники моих охотничьих экскурсий — лесники Захар и Максим. Но теперь, по-видимому, обоих нет дома, так как никто не выходит на лай громадной овчарки. Только старый дед, с лысою головой и седыми усами, сидит на завалинке и ковыряет лапоть. Усы у деда болтаются чуть не до пояса, глаза глядят тускло, точно дед все вспоминает что-то и не может припомнить.

— Здравствуй, дед. Есть кто-нибудь дома?

— Эге! — мотает дед головой.— Нет ни Захара, ни Максима, да и Мотря побрела в лес за коровой... Корова куда-то ушла,— пожалуй, медведи... задрали... Вот оно как, нет никого!

— Ну, ничего. Я с тобой посижу, обожду.

— Обожди, обожди,— кивает дед, и пока я подвязываю лошадь к ветви дуба, он всматривается в меня слабыми и мутными глазами. Плох уж старый дед: глаза не видят и руки трясутся.

— А кто ж ты такой, хлопче? — спрашивает он, когда я подсаживаюсь на завалинке.

Этот вопрос я слышу в каждое свое посещение.

— Эге, знаю теперь, знаю,— говорит старик, принимаясь опять за лапоть.— Вот старая голова, как решето, ничего не держит. Тех, что давно умерли, помню,— ой, хорошо помню! А новых людей все забываю... Зажился на свете.

— А давно ли ты, дед, живешь в этом лесу?

— Эге, давненько! Француз приходил в царскую землю, я уже был.

— Много же ты на своем веку видел. Чай, есть чего рассказать.

Дед смотрит на меня с удивлением.

— А что же мне видеть, хлопче? Лес видел... Шумит лес, шумит и днем, и ночью, зимою шумит и летом... И я, как та деревина, век прожил в лесу и не заметил... Вот и в могилу пора, а подумаю иной раз, хлопче, то и сам смекнуть не могу: жил я на свете или нет... Эге, вот как! Может, и вовсе не жил...

Край темной тучи выдвинулся из-за густых вершин над лесною поляной; ветви замыкавших поляну сосен закачались под дуновением ветра, и лесной шум пронесся глубоким усилившимся аккордом. Дед поднял голову и прислушался.

— Буря идет,— сказал он через минуту.— Это вот я знаю. Ой-ой, заревет ночью буря, сосны будет ломать, с корнем выворачивать станет!.. Заиграет лесной хозяин...— добавил он тише.

— Почему же ты знаешь, дед?

— Эге, это я знаю! Хорошо знаю, как дерево говорит... Дерево, хлопче, тоже боится... Вот осина, проклятое дерево, все что-то лопочет,— и ветру нет, а она трясется. Сосна на бору в ясный день играет-звенит, а чуть подымется ветер, она загудит и застонет. Это еще ничего... А ты вот слушай теперь. Я хоть глазами плохо вижу, а ухом слышу: дуб зашумел, ду́ба уже трогает на поляне... Это к буре.

Действительно, куча невысоких коряжистых дубов, стоявших посредине поляны и защищенных высокою

стеною бора, помахивала крепкими ветвями, и от них несся глухой шум, легко отличаемый от гулкого звона сосен.

— Эге! слышишь ли, хлопче? — говорит дед с детски-лукавою улыбкой.— Я уже знаю: тронуло этак вот дуба, значит, *хозяин* ночью пойдет, ломать будет... Да нет, не сломает! Дуб — дерево крепкое, не под силу даже хозяину... вот как!

— Какой же хозяин, деду? Сам же ты говоришь: буря ломает.

Дед закивал головой с лукавым видом.

— Эге, я ж это знаю!.. Нынче, говорят, такие люди пошли, что уже ничему и не верят. Вот оно как! А я же его видел, вот как тебя теперь, а то еще лучше, потому что теперь у меня глаза старые, а тогда были молодые. Ой-ой, как еще видели мои глаза смолоду!..

— Как же ты его видел, деду, скажи-ка?

— А вот, все равно, как и теперь: сначала сосна застонет на бору... То звенит, а то стонать начнет: о́-ох-хо-о́... о́-хо-о́! — и затихнет, а потом опять, потом опять, да чаще, да жалостнее. Эге, потому что много ее повалит хозяин ночью. А потом дуб заговорит. А к вечеру все больше, а ночью и пойдет крутить: бегает по лесу, смеется и плачет, вертится, пляшет и все на дуба́ налегает, все хочется вырвать... А я раз осенью и посмотрел в оконце; вот *ему* это и не по сердцу: подбежал к окну, тар-рах в него сосновою корягой; чуть мне все лицо не искалечил, чтоб ему было пусто; да я не дурак — отскочил. Эге, хлопче, вот он какой сердитый!..

— А каков же он с виду?

— А с виду он все равно, как старая верба, что стоит на болоте. Очень похож!.. И волосы — как сухая омела, что вырастает на деревьях, и борода тоже, а нос — как здоровенный сук, а морда корявая, точно поросла лишаями. Тьфу, какой некрасивый! Не дай же бог ни одному крещеному на него походить... Ей-богу! Я-таки в другой раз на болоте его видел, близко... А хочешь, приходи зимой, так и сам увидишь *его*. Взойди туда, на гору,— лесом та гора поросла,— и полезай на самое высокое дерево, на верхушку. Вот оттуда иной день и можно его увидать: идет он белым столбом поверх лесу, так и вертится сам, с горы в долину спускается... Побежит, побежит, а потом в лесу и пропадет. Эге!.. А где пройдет, там след белым снегом устилает... Не веришь старому человеку, так когда-нибудь сам посмотри.

Разболтался старик. Казалось, оживленный и тревожный говор леса и нависшая в воздухе гроза возбуждали старую кровь. Дед кивал головой, усмехался, моргал выцветшими глазами.

Но вдруг будто какая-то тень пробежала по высокому, изборожденному морщинами лбу. Он толкнул меня локтем и сказал с таинственным видом:

— А знаешь, хлопче, что я тебе скажу?.. Он, конечно, лесной хозяин — мерзенная тварюка, это правда. Крещеному человеку обидно увидать такую некрасивую харю... Ну, только надо о нем правду сказать: он зла не делает... Пошутить с человеком пошутит, а чтоб лихо делать, этого не бывает.

— Да как же, дед, ты сам говорил, что он тебя хотел ударить корягой?

— Эге, хотел-таки! Так то ж он рассердился, зачем я в окно на него смотрю, вот оно что! А если в его дела носу не совать, так и он такому человеку никакой пакости не сделает. Вот он какой, лесовик!.. А знаешь, в лесу от людей страшнее дела бывали... Эге, ей-богу!

Дед наклонил голову и с минуту сидел в молчании. Потом, когда он посмотрел на меня, в его глазах, сквозь застлавшую их тусклую оболочку, блеснула как будто искорка проснувшейся памяти.

— Вот я тебе расскажу, хлопче, лесную нашу бывальщину. Было тут раз, на самом этом месте, давно... Помню я, ровно сон, а как зашумит лес погромче, то и все вспоминаю... Хочешь, расскажу тебе, а?

— Хочу, хочу, деду! Рассказывай.

— Так и расскажу же, эге! Слушай вот!

II

У меня, знаешь, батько с матерью давно померли, я еще малым хлопчиком был... Покинули они меня на свете одного. Вот оно как со мною было, эге! Вот громада и думает: «Что же нам теперь с этим хлопчиком делать?» Ну, и пан тоже себе думает... И пришел на этот раз из лесу лесник Роман, да и говорит громаде: «Дайте мне этого хлопца в сторожку, я его буду кормить... Мне в лесу веселее, и ему хлеб...» Вот он как говорит, а громада ему отвечает: «бери!» Он и взял. Так я с тех самых пор в лесу и остался.

Тут меня Роман и выкормил. Ото ж человек был какой страшный, не дай господи!.. Росту большого, глаза черные, и душа у него темная из глаз глядела, потому что всю жизнь этот человек в лесу один жил: медведь ему, люди говорили, все равно, что брат, а волк — племянник. Всякого зверя он знал и не боялся, а от людей сторонился и не глядел даже на них... Вот он какой был — ей-богу, правда! Бывало, как он на меня глянет, так у меня по спине будто кошка хвостом поведет... Ну, а человек был все-таки добрый, кормил меня, нечего сказать, хорошо: каша, бывало, гречневая всегда у него с салом, а когда утку убьет, так и утка. Что правда, то уже правда, кормил-таки.

Так мы и жили вдвоем. Роман в лес уйдет, а меня в сторожке запрет, чтобы зверюка не съела. А после дали ему жинку Оксану.

Пан ему жинку дал. Призвал его на село, да и говорит: «Вот что, говорит, Рома́сю, женись!» Говорит пану Роман сначала: «А на какого же мне біса жинка? Что мне в лесу делать с бабой, когда у меня уж и без того хлопец есть? Не хочу я, говорит, жениться!» Не привык он с девками возиться, вот что! Ну, да и пан тоже хитрый был... Как вспомню про этого пана, хлопче, то и подумаю себе, что теперь уже таких нету,— нету таких панов больше,— вывелись... Вот хоть бы и тебя взять: тоже, говорят, и ты панского роду... Может, оно и правда, а таки нет в тебе этого... настоящего... Так себе, мизерный хлопчина, больше ничего.

Ну, а тот настоящий был, из прежних... Вот, скажу тебе, такое на свете водится, что сотни людей одного человека боятся, да еще как!.. Посмотри ты, хлопче, на ястреба и на цыпленка: оба из яйца вылупились, да ястреб сейчас вверх норовит, эге! Как крикнет в небе, так сейчас не то что цыплята — и старые петухи забегают... Вот же ястреб — панская птица, а курица — простая мужичка...

Вот, помню, я малым хлопчиком был: везут мужики из лесу толстые бревна, человек, может быть, тридцать. А пан один на своем конике едет да усы крутит. Конек под ним играет, а он кругом смотрит. Ой-ой! завидят мужики пана, то-то забегают, лошадей в снег сворачивают, сами шапки снимают. После сколько бьются, из снега бревна вывозят, а пан себе скачет,— вот ему, видишь ты, и одному на дороге тесно! Поведет пан бровью — уже мужики боятся, засмеется — и всем весело, а нахмурится — все запечалятся. А чтобы кто пану мог перечить, того, почитай, и не бывало.

Ну, а Роман, известно, в лесу вырос, обращения не знал, и пан на него не очень сердился.

— Хочу,— говорит пан,— чтоб ты женился, а зачем, про то я сам знаю. Бери Оксану.

— Не хочу я,— отвечал Роман,— не надо мне ее, хоть бы и Оксану! Пускай на ней черт женится, а не я... Вот как!

Велел пан принести канчуки, растянули Романа, пан его спрашивает:

— Будешь, Роман, жениться?

— Нет,— говорит,— не буду.

— Сыпьте ж ему,— говорит пан,— в мотню[1], сколько влезет.

Засыпали ему-таки немало; Роман на что уж здоров был, а все ж ему надоело.

— Бросьте уж,— говорит,— будет-таки! Пускай же ее лучше все черти возьмут, чем мне за бабу столько муки принимать. Давайте ее сюда, буду жениться!

Жил на дворе у пана доезжачий, Опанас Швидкий. Приехал он на ту пору с поля, как Романа к женитьбе заохачивали. Услышал он про Романову беду — бух пану в ноги. Таки упал в ноги, целует...

— Чем,— говорит,— вам, милостивый пан, человека мордовать, лучше я на Оксане женюсь, слова не скажу...

Эге, сам-таки захотел жениться на ней. Вот какой человек был, ей-богу!

Вот Роман было обрадовался, повеселел. Встал на ноги, завязал мотню и говорит:

— Вот,— говорит,— хорошо. Только что бы тебе, человече, пораньше немного приехать? Да и пан тоже — всегда вот так!.. Не расспросить же было толком, может, кто охотой женится. Сейчас схватили человека и давай ему сыпать! Разве, говорит, это по-христиански так делать? Тьфу!..

Эге, он порой и пану спуску не давал. Вот какой был Роман! Когда уж осердится, то к нему, бывало, не подступайся, хотя бы и пан. Ну, а пан был хитрый! У него, видишь, другое на уме было. Велел опять Романа растянуть на траве.

— Я,— говорит,— тебе, дураку, счастья хочу, а ты нос воротишь. Теперь ты один, как медведь в берлоге, и зае-

---

[1] Хохлы носят холщовые штаны, вроде мешка, раздвоенного только внизу. Этот-то мешок и называется «мотнею».

хать к тебе не весело... Сыпьте ж ему, дураку, пока не скажет: довольно!.. А ты, Опанас, ступай себе к чертовой матери. Тебя, говорит, к обеду не звали, так сам за стол не садись, а то видишь, какое Роману угощенье? Тебе как бы того же не было.

А Роман уж и не на шутку осердился, эге! Его дуют-таки хорошо, потому что прежние люди, знаешь, умели славно канчуками шкуру спускать, а он лежит себе и не говорит: довольно! Долго терпел, а все-таки после плюнул:

— Не дождет ее батько, чтоб из-за бабы христианину вот так сыпали, да еще и не считали. Довольно! Чтоб вам руки поотсыхали, бісова дворня! Научил же вас черт канчуками работать! Да я ж вам не сноп на току, чтоб меня вот так молотили. Коли так, так вот же, и женюсь.

А пан себе смеется.

— Вот,— говорит,— и хорошо! Теперь на свадьбе хоть сидеть тебе и нельзя, зато плясать будешь больше...

Веселый был пан, ей-богу веселый, эге? Да только после скверное с ним случилось, не дай бог ни одному крещеному. Право, никому такого не пожелаю. Пожалуй, даже и жиду не следует такого желать. Вот я что думаю...

Вот так-то Романа и женили. Привез он молодую жинку в сторожку; сначала все ругал да попрекал своими канчука́ми.

— И сама ты,— говорит,— того не стоишь, сколько из-за тебя человека мордовали.

Придет, бывало, из лесу и сейчас станет ее из избы гнать:

— Ступай себе! Не надо мне бабы в сторожке! Чтоб и духу твоего не было! Не люблю,— говорит,— когда у меня баба в избе спит. Дух,— говорит,— нехороший.

Эге!

Ну, а после ничего, притерпелся. Оксана, бывало, избу выметет и вымажет чистенько, посуду расставит; блестит все, даже сердцу весело. Роман видит: хорошая баба,— помаленьку и привык. Да и не только привык, хлопче, а стал ее любить, ей-богу, не лгу! Вот какое дело с Романом вышло. Как пригляделся хорошо к бабе, потом и говорит:

— Вот спасибо пану, добру меня научил. Да и я ж таки неумный был человек: сколько канчуко́в принял, а оно,

как теперь вижу, ничего и дурного нет. Еще даже хорошо. Вот оно что!

Вот прошло сколько-то времени, я и не знаю, сколько. Слегла Оксана на лавку, стала стонать. К вечеру занедужилась, а наутро проснулся я, слышу: кто-то тонким голосом «квили́т»[1]. Эге! — думаю я себе,— это ж, видно, «диты́на» родилась. А оно вправду так и было.

Недолго пожила диты́на на белом свете. Только и жила, что от утра до вечера. Вечером и пищать перестала... Заплакала Оксана, а Роман и говорит:

— Вот и нету диты́ны, а когда ее нету, то незачем теперь и попа звать. Похороним под сосною.

Вот как говорит Роман, да не то, что говорит, а так как раз и сделал: вырыл могилку и похоронил. Вон там старый пень стоит, громом его спалило... Так то ж и есть та самая сосна, где Роман диты́ну зарыл. Знаешь, хлопче, вот же я тебе скажу: и до сих пор, как солнце сядет и звезда-зорька над лесом станет, летает какая-то пташка, да и кричит. Ох, и жалобно квили́т пташи́на, аж сердцу больно! Так это и есть некрещеная душа,— креста себе просит. Кто знающий человек, по книгам учился, то, говорят, может ей крест дать, и не станет она больше летать... Да мы вот тут в лесу живем, ничего не знаем. Она летает, она просит, а мы только и говорим: «геть-геть, бедная душа, ничего мы не можем сделать!» Вот заплачет и улетит, а потом и опять прилетает. Эх, хлопче, жалко бедную душу!

Вот выздоровела Оксана, все на могилку ходила. Сядет на могилке и плачет, да так громко, что по всему лесу, бывало, голос ее ходит. Это она так свою диты́ну жалела, а Роман не жалел диты́ну, а Оксану жалел. Придет, бывало, из лесу, станет около Оксаны и говорит:

— Молчи уж, глупая ты баба! Вот было бы о чем плакать! Померла одна диты́на, то, может, другая будет. Да еще, пожалуй, и лучшая, эге! Потому что та еще, может, и не моя была, я же таки и не знаю. Люди говорят... А это будет моя.

Вот уже Оксана и не любила, когда он так говорил. Перестанет, бывало, плакать и начнет его нехорошими словами «лаять». Ну, Роман на нее не сердился.

— Да и что же ты,— спрашивает,— лаешься? Я же ничего такого не сказал, а только сказал, что не знаю. Потому и не знаю, что прежде ты не моя была и жила не в ле-

---

[1] Кивили́т — плачет, жалобно пищит.

су, а на свете, промежду людей. Так как же мне знать? Теперь вот ты в лесу живешь, вот и хорошо. А таки говорила мне баба Федосья, когда я за нею на село ходил: «Что-то у тебя, Роман, скоро дитына поспела!» А я говорю бабе: «Как же мне-таки знать, скоро ли, или нескоро?»... Ну, а ты все же брось голосить, а то я осержусь, то еще, пожалуй, как бы тебя и не побил.

Вот Оксана полает, полает его, да и перестанет.

Она его, бывало, и поругает, и по спине ударит, а как станет Роман сам сердиться, она и притихнет,— боялась. Приласкает его, обоймет, поцелует и в очи заглянет... Вот мой Роман и угомонится. Потому... видишь ли, хлопче... Ты, должно быть, не знаешь, а я, старик, хотя сам не женивался, а все-таки видал на своем веку: молодая баба дюже сладко целуется, какого хочешь сердитого мужика может она обойти. Ой-ой!.. Я же таки знаю, каковы эти бабы. А Оксана была гладкая такая молодица, что теперь я уже что-то таких больше не вижу. Теперь, хлопче, скажу тебе, и бабы не такие, как прежде.

Вот раз в лесу рожок затрубил: тра-та, тара-тара-та-та-та!.. Так и разливается по лесу, весело да звонко. Я тогда малый хлопчик был и не знал, что это такое; вижу: птицы с гнезд подымаются, крылом машут, кричат, а где и заяц пригнул уши на спину и бежит, что есть духу. Вот я и думаю: может, это зверь какой невиданный так хорошо кричит. А то же не зверь, а пан себе на конике лесом едет да в рожок трубит; за паном доезжачие верхом и собак на сворах ведут. А всех доезжачих красивее Опанас Швидкий, за паном в синем казакине гарцует; шапка на Опанасе с золотым верхом, конь под ним играет, рушница за плечами блестит, и бандура на ремне через плечо повешена. Любил пан Опанаса, потому что Опанас хорошо на бандуре играл и песни был мастер петь. Ух, и красивый же был парубок этот Опанас, страх красивый! Куда было пану с Опанасом равняться: пан уже и лысый был, и нос у пана красный, и глаза хоть веселые, а все не такие, как у Опанаса. Опанас, бывало, как глянет на меня,— мне, малому хлопчику, и то смеяться хочется, а я же не девка. Говорили, что у Опанаса отцы и деды запорожские казаки были, в Сечи казаковали, а там народ был все гладкий, да красивый, да проворный. Да ты сам, хлопче, подумай: на коне ли со «списой»[1] по полю пти-

[1] Списа — копье.

цей летать, или топором дерево рубить, это ж не одно дело...

Вот я выбежал из хаты, смотрю: подъехал пан, остановился, и доезжачие стали; Роман из избы вышел, подержал пану стремя: ступил пан на землю. Роман ему поклонился.

— Здорово! — говорит пан Роману.

— Эге,— отвечает Роман,— да я ж, спасибо, здоров, чего мне делается? А вы как?

Не умел, видишь ты, Роман пану как следует ответить. Дворня вся от его слов засмеялась, и пан тоже.

— Ну, и слава богу, что ты здоров,— говорит пан.— А где ж твоя жинка?

— Да где ж жинке быть? Жинка, известно, в хате...

— Ну, мы и в хату войдем,— говорит пан,— а вы, хлопцы, пока на траве ковер постелите, да приготовьте нам все, чтобы было чем молодых на первый раз поздравить.

Вот и пошли в хату: пан и Опанас, и Роман без шапки за ним, да еще Богдан — старший доезжачий, верный панский слуга. Вот уж и слуг таких теперь тоже на свете нету: старый был человек, с дворней строгий, а перед паном как та собака. Никого у Богдана на свете не было, кроме пана. Говорят, как померли у Богдана батько с матерью, попросился он у старого пана на тягло и захотел жениться. А старый пан не позволил, приставил его к своему паничу: тут тебе, говорит, и батько, и мать, и жинка. Вот выносил Богдан панича и выходил, и на коня выучил садиться, и из ружья стрелять. А вырос панич, сам стал пановать, старый Богдан все за ним следом ходил, как собака. Ох, скажу тебе правду: много того Богдана люди проклинали, много на него людских слез пало... все из-за пана. По одному панскому слову Богдан мог бы, пожалуй, родного отца в клочки разорвать...

А я, малый хлопчик, тоже за ними в избу побежал: известное дело, любопытно. Куда пан повернулся, туда и я за ним.

Гляжу, стоит пан посередь избы, усы гладит, смеется. Роман тут же топчется, шапку в руках мнет, а Опанас плечом об стенку уперся, стоит себе, бедняга, как тот молодой дубок в непогодку. Нахмурился, невесел...

И вот они трое повернулись к Оксане. Один старый Богдан сел в углу на лавке, свесил чуприну, сидит, пока пан чего не прикажет. А Оксана в углу у печки стала,

глаза опустила, сама раскраснелась вся, как тот мак середь ячменю. Ох, видно, чуяла небо́га, что из-за нее лихо будет. Вот тоже скажу тебе, хлопче: уже если три человека на одну бабу смотрят, то от этого никогда добра не бывает — непременно до чуба дело дойдет, коли не хуже. Я ж это знаю, потому что сам видел.

— Ну, что, Рома́сю,— смеется пан,— хорошую ли я тебе жинку высватал?

— А что ж? — Роман отвечает.— Баба, как баба, ничего!

Повел тут плечом Опанас, поднял глаза на Оксану и говорит про себя:

— Да,— говорит,— баба! Хоть бы и не такому дурню досталась.

Роман услыхал это слово, повернулся к Опанасу и говорит ему:

— А чем бы это я, пан Опанас, вам за дурня показался? Эге, скажите-ка!

— А тем,— говорит Опанас,— что не сумеешь жинку свою уберечь, тем и дурень...

Вот какое слово сказал ему Опанас! Пан даже ногою топнул, Богдан покачал головою, а Роман подумал с минуту, потом поднял голову и посмотрел на пана.

— А что ж мне ее беречь? — говорит Опанасу, а сам все на пана смотрит.— Здесь, кроме зверя, никакого черта и нету, вот разве милостивый пан когда завернет. От кого же мне жинку беречь? Смотри ты, вражий казаче, ты меня не дразни, а то я, пожалуй, и за чуприну схвачу.

Пожалуй-таки и дошло бы у них дело до потасовки, да пан вмешался: топнул ногой — они и замолчали.

— Тише вы,— говорит,— бісовы дети! Мы же сюда не для драки приехали. Надо молодых поздравлять, а потом, к вечеру, на болото охотиться. Айда за мной!

Повернулся пан и пошел из избы; а под деревом доезжачие уж и закуску сготовили. Пошел за паном Богдан, а Опанас остановил Романа в сенях.

— Не сердись ты на меня, бра́тику,— говорит казак.— Послушай, что тебе Опанас скажет: видел ты, как я у пана в ногах валялся, сапоги у него целовал, чтоб он Оксану за меня отдал? Ну, бог с тобой, человече... Тебя поп окрутил, такая, видно, судьба! Так не стерпит же мое сердце, чтоб лютый ворог опять и над ней, и над тобой потешался. Гей-гей! Никто того не знает, что у меня на душе... Лучше

же я и его, и ее из рушницы вместо постели уложу в сырую землю...

Посмотрел Роман на казака и спрашивает:

— А ты, казаче, часом «с глузду не съехал»?[1]

Не слыхал я, что Опанас на это стал Роману тихо в сенях говорить, только слышал, как Роман его по плечу хлопнул.

— Ох, Опанас, Опанас! Вот какой на свете народ злой да хитрый! А я же ничего того, живучи в лесу, и не знал. Эге, пане, пане, лихо ты на свою голову затеял!..

— Ну,— говорит ему Опанас,— ступай теперь и не показывай виду, пуще всего перед Богданом. Неумный ты человек, а эта панская собака хитра. Смотри же: панской горелки много не пей, а если отправит тебя с доезжачими на болото, а сам захочет остаться, веди доезжачих до старого дуба, и покажи им объездную дорогу, а сам, скажи, прямиком пойдешь по лесу... Да поскорее сюда возвращайся.

— Добре,— говорит Роман.— Соберусь на охоту, рушницу не дробью заряжу и не «леткой» на птицу, а доброю пулей на медведя.

Вот и они вышли. А уж пан сидит на ковре, велел подать фляжку и чарку, наливает в чарку горелку и потчевает Романа. Эге, хороша была у пана и фляжка, и чарка, а горелка еще лучше. Чарочку выпьешь — душа радуется, другую выпьешь — сердце скачет в груди, а если человек непривычный, то с третьей чарки и под лавкой валяется, коли баба на лавку не уложит.

Эге, говорю тебе, хитрый был пан! Хотел Романа напоить своею горелкой допьяна, а еще такой и горелки не бывало, чтобы Романа свалила. Пьет он из панских рук чарку, пьет и другую, и третью выпил, а у самого только глаза, как у волка, загораются, да усом черным поводит. Пан даже осердился.

— Вот же вражий сын, как здорово горелку хлещет, а сам и не моргнет глазом! Другой бы уж давно заплакал, а он, глядите, добрые люди, еще усмехается...

Знал же вражий пан хорошо, что если уж человек от горелки заплакал, то скоро и совсем чуприну на стол свесит. Да на тот раз не на такого напал.

— А с чего ж мне,— Роман ему отвечает,— плакать? Даже, пожалуй, это нехорошо бы было. Приехал ко мне

[1] «С глузду съехать» — сойти с ума.

милостивый пан поздравлять, а я бы-таки и начал реветь, как баба. Слава богу, не от чего мне еще плакать, пускай лучше мои вороги плачут...

— Значит,— спрашивает пан,— ты доволен?

— Эге! А чем мне быть недовольным?

— А помнишь, как мы тебя канчука́ми сватали?

— Как-таки не помнить! Ото ж и говорю, что неумный человек был, не знал, что горько, что сладко. Канчук горек, а я его лучше бабы любил. Вот спасибо вам, милостивый пане, что научили меня, дурня, мед есть.

— Ладно, ладно,— пан ему говорит.— Зато и ты мне услужи: вот пойдешь с доезжачими на болото, настреляй побольше птиц, да непременно глухого тетерева достань.

— А когда ж это пан нас на болото посылает? — спрашивает Роман.

— Да вот выпьем еще. Опанас нам песню споет, да и с богом.

Посмотрел Роман на него и говорит пану:

— Вот уж это и трудно: пора не ранняя, до болота далеко, а еще, вдобавок, и ветер по лесу шумит, к ночи будет буря. Как же теперь такую сторожкую птицу убить?

А уж пан захмелел, да во хмелю был крепко сердитый. Услышал, как дворня промеж себя шептаться стала, говорят, что, мол, «Романова правда, загудет скоро буря»,— и осердился. Стукнул чаркой, повел глазами,— все и стихли.

Один Опанас не испугался; вышел он, по панскому слову, с бандурой песни петь, стал бандуру настраивать, сам посмотрел сбоку на пана и говорит ему:

— Опомнись, милостивый пане! Где же это видано, чтобы к ночи, да еще в бурю, людей по темному лесу за птицей гонять?

Вот он какой был смелый! Другие, известное дело, панские «крепаки», боятся, а он — вольный человек, казацкого рода. Привел его небольшим хлопцем старый казак-бандурист с Украйны. Там, хлопче, люди что-то нашумели в городе Умани. Вот старому казаку выкололи очи, обрезали уши и пустили его такого по свету. Ходил он, ходил после того по городам и селам и забрел в нашу сторону с поводырем, хлопчиком Опанасом. Старый пан взял его к себе, потому что любил хорошие песни. Вот старик умер,— Опанас при дворе и вырос. Любил его но-

вый пан, тоже и терпел от него порой такое слово, за которое другому спустили бы три шкуры.

Так и теперь: осердился было сначала, думали, что он казака ударит, а после говорит Опанасу:

— Ой, Опанас, Опанас. Умный ты хлопец, а того, видно, не знаешь, что меж дверей не надо носа совать, чтобы как-нибудь не захлопнули...

Вот он какую загадал загадку! А казак-таки сразу и понял. И ответил казак пану песней. Ой, кабы и пан понял казацкую песню, то, может бы, его пани над ним не разливалась слезами.

— Спасибо, пане, за науку,— сказал Опанас,— вот же я тебе за то спою, а ты слушай.

И ударил по струнам бандуры.

Потом поднял голову, посмотрел на небо, как в небе орел ширяет, как ветер темные тучи гоняет. Наставил ухо, послушал, как высокие сосны шумят.

И опять ударил по струнам бандуры.

Эй, хлопче, не довелось тебе слышать, как играл Опанас Швидкий, а теперь уж и не услышишь! Вот же и не хитрая штука бандура, а как она у знающего человека хорошо говорит. Бывало, пробежит по ней рукою, она ему все и скажет: как темный бор в непогоду шумит, и как ветер звенит в пустой степи по бурьяну, и как сухая травинка шепчет на высокой казацкой могиле.

Нет, хлопче, не услыхать уже вам настоящую игру! Ездят теперь сюда всякие люди, такие, что не в одном Полесье бывали, но и в других местах, и по всей Украйне: и в Чигирине, и в Полтаве, и в Киеве, и в Черкасах. Говорят, вывелись уж бандуристы, не слышно их уже на ярмарках и на базарах. У меня еще на стене в хате старая бандура висит. Выучил меня играть на ней Опанас, а у меня никто игры не перенял. Когда я умру,— а уж это скоро,— так, пожалуй, и нигде уже на широком свете не слышно будет звона бандуры. Вот оно что!

И запел Опанас тихим голосом песню. Голос был у Опанаса негромкий, да «сумный»[1],— так, бывало, в сердце и льется. А песню, хлопче, казак, видно, сам для пана придумал. Не слыхал я ее никогда больше, и когда после, бывало, к Опанасу пристану, чтобы спел, он все не соглашался.

---

[1] Украинское слово сумный совмещает в себе понятия, передаваемые по-русски словами: грустный и задумчивый.

— Для кого,— говорит,— та песня пелась, того уже нету на свете.

В той песне казак пану всю правду сказал, что с паном будет, и пан плачет, даже слезы у пана текут по усам, а все же ни слова, видно, из песни не понял.

Ох, не помню я эту песню, помню только немного. Пел казак про пана, про Ивана:

Ой, пане, ой, Иване!..
Умный пан много знает...
Знает, что ястреб в небе летает, ворон побивает...
Ой, пане, ой, Иване!..
А того ж пан не знает,
Как на свете бывает,—
Что у гнезда и ворона ястреба побивает...

Вот же, хлопче, будто и теперь я эту песню слышу и тех людей вижу: стоит казак с бандурой, пан сидит на ковре, голову свесил и плачет; дворня кругом столпилась, поталкивают один другого локтями; старый Богдан головой качает... А лес, как теперь, шумит, и тихо да сумно звенит бандура, а казак поет, как пани плачет над паном, над Иваном:

Плачет пани, плачет,
А над паном, над Иваном черный ворон крячет.

Ох, не понял пан песни, вытер слезы и говорит:

— Ну, собирайся, Роман! Хлопцы, садитесь на коней! И ты, Опанас, поезжай с ними,— будет уж мне твоих песен слушать!.. Хорошая песня, да только никогда того, что в ней поется, на свете не бывает.

А у казака от песни размякло сердце, затуманились очи.

— Ох, пане, пане,— говорит Опанас,— у нас говорят старые люди: в сказке правда и в песне правда. Только в сказке правда — как железо: долго по свету из рук в руки ходило, заржавело... А в песне правда — как золото, что никогда его ржа не ест... Вот как говорят старые люди!

Махнул пан рукой.

— Ну, может, так в вашей стороне, а у нас не так... Ступай, ступай, Опанас,— надоело мне тебя слушать.

Постоял казак с минуту, а потом вдруг упал перед паном на землю:

— Послушай меня, пане! Садись на коня, поезжай к своей пани: у меня сердце недоброе чует.

Вот уж тут пан осердился, толкнул казака, как собаку, ногой.

— Иди ты от меня прочь! Ты, видно, не казак, а баба! Иди ты от меня, а то как бы с тобой не было худо... А вы что стали, хамово племя? Иль я не пан вам больше? Вот я вам такое покажу, чего и ваши батьки от моих батько́в не видали!..

Встал Опанас на ноги, как темная туча, с Романом переглянулся. А Роман в стороне стоит, на рушницу облокотился, как ни в чем не бывало.

Ударил казак бандурой об дерево,— бандура вдребезги разлетелась, только стон пошел от бандуры по лесу.

— А пускай же,— говорит,— черти на том свете учат такого человека, который разумную ра́ду не слушает... Тебе, пане, видно, верного слуги не надо.

Не успел пан ответить, вскочил Опанас в седло и поехал. Доезжачие тоже на коней сели. Роман вскинул рушницу на плечи и пошел себе, только, проходя мимо сторожки, крикнул Оксане:

— Уложи хлопчика, Оксана! Пора ему спать. Да и пану сготовь постелю.

Вот скоро и ушли все в лес вон по той дороге; и пан в хату ушел, только панский конь стоит себе, под деревом привязан. А уж и темнеть начало, по лесу шум идет и дождик накрапывает, вот-таки совсем, как теперь... Уложила меня Оксана на сеновале, перекрестила на ночь... Слышу я, моя Оксана плачет.

Ох, ничего-то я тогда, малый хлопчик, не понимал, что кругом меня творится! Свернулся на сене, послушал, как буря в лесу песню заводит, и стал засыпать.

Эге! Вдруг слышу, кто-то около сторожки ходит... подошел к дереву, панского коня отвязал. Захрапел конь, ударил копытом; как пустится в лес, скоро и топот затих... Потом слышу, опять кто-то по дороге скачет, уже к сторожке. Подскакал вплоть, соскочил с седла на землю и прямо к окну.

— Пане, пане! — кричит голосом старого Богдана.— Ой, пане, отвори скорей! Вражий казак лихо задумал, видно: твоего коня в лес отпустил.

Не успел старик договорить, кто-то его сзади схватил. Испугался я, слышу — что-то упало...

Отворил пан двери, с рушницей выскочил, а уж в сенях

Роман его захватил, да прямо за чуб, да об землю...

Вот видит пан, что ему лихо, и говорит:

— Ой, отпусти, Ромáсю! Так-то ты мое добро помнишь?

А Роман ему отвечает:

— Помню я, вражий пане, твое добро и до меня, и до моей жинки. Вот же я тебе теперь за добро заплачу...

А пан говорит опять:

— Заступись, Опанас, мой верный слуга! Я ж тебя любил, как родного сына.

А Опанас ему отвечает:

— Ты своего верного слугу прогнал, как собаку. Любил меня так, как палка любит спину, а теперь так любишь, как спина палку... Я ж тебя просил и молил,— ты не послушался...

Вот стал пан тут и Оксану просить:

— Заступись ты, Оксана, у тебя сердце доброе.

Выбежала Оксана, всплеснула руками:

— Я ж тебя, пане, просила, в ногах валялась: пожалей мою девичью красу, не позорь меня, мужнюю жену. Ты же не пожалел, а теперь сам просишь... Ох, лишенько мне, что же я сделаю?

— Пустите,— кричит опять пан,— за меня вы все погибнете в Сибири...

— Не печалься за нас, пане,— говорит Опанас: — Роман будет на болоте раньше твоих доезжачих, а я, по твоей милости, один на свете, мне о своей голове думать недолго. Вскину рушницу за плечи и пойду себе в лес... Наберу проворных хлопцев и будем гулять... Из лесу станем выходить ночью на дорогу, а когда в село забредем, то прямо в панские хоромы. Эй, подымай, Ромáсю, пана, вынесем его милость на дождик.

Забился тут пан, закричал, а Роман только ворчит про себя, как медведь, а казак насмехается. Вот и вышли.

А я испугался, кинулся в хату и прямо к Оксане. Сидит моя Оксана на лавке — белая, как стена...

А по лесу уже загудела настоящая буря: кричит бор разными голосами, да ветер воет, а когда и гром полыхнет. Сидим мы с Оксаной на лежанке, и вдруг слышу я, кто-то в лесу застонал. Ох, да так жалобно, что я до сих пор, как вспомню, то на сердце тяжело станет, а ведь уже тому много лет...

— Оксано,— говорю,— голу́бонько, а кто ж это там в лесу стонет?

А она схватила меня на руки и качает.

— Спи,— говорит,— хлопчику, ничего! Это так... лес шумит...

А лес и вправду шумел, ох, и шумел же!

Просидели мы еще сколько-то времени, слышу я: ударило по лесу будто из рушницы.

— Оксано,— говорю,— голу́бонько, а кто ж это из рушницы стреляет?

А она, небо́га, все меня качает и все говорит:

— Молчи, молчи, хлопчику, то гром божий ударил в лесу.

А сама все плачет и меня крепко к груди прижимает, баюкает: «Лес шумит, лес шумит, хлопчику, лес шумит...»

Вот я лежал у нее на руках и заснул...

А наутро, хлопче, прокинулся, гляжу: солнце светит, Оксана одна в хате одетая спит. Вспомнил я вчерашнее и думаю: это мне такое приснилось.

А оно не приснилось, ой, не приснилось, а было направду. Выбежал я из хаты, побежал в лес, а в лесу пташки щебечут и роса на листьях блестит. Вот добежал до кустов, а там и пан и доезжачий лежат себе рядом. Пан спокойный и бледный, а доезжачий седой, как голубь, и строгий, как раз будто живой. А на груди и у пана, и у доезжачего кровь.

. . . .

— Ну, а что же случилось с другими? — спросил я, видя, что дед опустил голову и замолк.

— Эге! Вот же все так и сделалось, как сказал казак Опанас. И сам он долго в лесу жил, ходил с хлопцами по большим дорогам да по панским усадьбам. Такая казаку судьба на роду была написана: отцы гайдамачили, и ему то же на долю выпало. Не раз он, хлопче, приходил к нам в эту старую хату, а чаще всего, когда Романа не бывало дома. Придет, бывало, посидит и песню споет, и на бандуре сыграет. А когда и с другими товарищами заходил,— всегда его Оксана и Роман принимали. Эх, правду тебе, хлопче, сказать, таки и не без греха тут было дело. Вот придут скоро из лесу Максим и Захар, посмотри ты на них обоих: я ничего им не говорю, а только кто знал Романа и Опанаса, тому сразу видно, который на которого похож, хотя они уже тем людям не сыны, а внуки... Вот

же какие дела, хлопче, бывали на моей памяти в этом лесу...

А шумит же лес крепко,— будет буря!

III

Последние слова рассказа старик говорил как-то устало. Очевидно, его возбуждение прошло и теперь сказывалось утомлением: язык его заплетался, голова тряслась, глаза слезились.

Вечер спустился уже на землю, в лесу потемнело, бор волновался вокруг сторожки, как расходившееся море; темные вершины колыхались, как гребни волн в грозную непогоду.

Веселый лай собак возвестил приход хозяев. Оба лесника торопливо подошли к избушке, а вслед за ними запыхавшаяся Мотря пригнала затерявшуюся было корову. Наше общество было в сборе.

Через несколько минут мы сидели в хате; в печи весело трещал огонь; Мотря собрала «вечéрять».

Хотя я не раз видел прежде Захара и Максима, но теперь я взглянул на них с особенным интересом. Лицо Захара было темно, брови срослись над крутым низким лбом, глаза глядели угрюмо, хотя в лице можно было различить природное добродушие, присущее силе. Максим глядел открыто, как будто ласкающими серыми глазами; по временам он встряхивал своими курчавыми волосами, его смех звучал как-то особенно заразительно.

— А чи не рассказывал вам старик,— спросил Максим,— старую бывальщину про нашего деда?

— Да, рассказывал,— отвечал я.

— Ну, он всегда вот так! Лес зашумит покрепче, ему старое и вспоминается. Теперь всю ночь никак не заснет.

— Совсем мала дитына,— добавила Мотря, наливая старику щей.

Старик как будто не понимал, что речь идет именно о нем. Он совсем опустился, по временам бессмысленно улыбался, кивая головой; только когда снаружи налетал на избушку порыв бушевавшего по лесу ветра, он начинал тревожиться и наставлял ухо, прислушиваясь к чему-то с испуганным видом.

Вскоре в лесной избушке все смолкло. Тускло светил

угасающий *каганéц*[1], да сверчок звонил свою однообразно-крикливую песню... А в лесу, казалось, шел говор тысячи могучих, хотя и глухих голосов, о чем-то грозно перекликавшихся во мраке. Казалось, какая-то грозная сила ведет там, в темноте, шумное совещание, собираясь со всех сторон ударить на жалкую, затерянную в лесу хибарку. По временам смутный рокот усиливался, рос, приливал, и тогда дверь вздрагивала, точно кто-то, сердито шипя, напирает на нее снаружи, а в трубе ночная вьюга с жалобною угрозой выводила за сердце хватающую ноту. Потом на время порывы бури смолкали, роковая тишина томила робеющее сердце, пока опять подымался гул, как будто старые сосны сговаривались сняться вдруг с своих мест и улететь в неведомое пространство вместе с размахами ночного урагана.

Я забылся на несколько минут смутною дремотой, но, кажется, ненадолго. Буря выла в лесу на разные голоса и тоны. Каганéц вспыхивал по временам, освещая избушку. Старик сидел на своей лавке и шарил вокруг себя рукой, как будто надеясь найти кого-то поблизости. Выражение испуга и почти детской беспомощности виднелось на лице бедного деда.

— Оксано, голýбонько,— расслышал я его жалобный ропот,— а кто ж это там в лесу стонет?

Он тревожно пошарил рукой и прислушался.

— Эге! — говорил он опять,— никто не стонет. То буря в лесу шумит... Больше ничего, лес шумит, шумит...

Прошло еще несколько минут. В маленькие окна то и дело заглядывали синеватые огни молнии, высокие деревья вспыхивали за окном призрачными очертаниями и опять исчезали во тьме среди сердитого ворчания бури. Но вот резкий свет на мгновение затмил бледные вспышки каганцá, и по лесу раскатился отрывистый недалекий удар.

Старик опять тревожно заметался на лавке.

— Оксано, голýбонько, а кто ж это в лесу стреляет?

— Спи, старик, спи,— послышался с печки спокойный голос Мотри.— Вот всегда так: в бурю по ночам все Оксану зовет. И забыл, что Оксана уж давно на том свете. Ох-хо!

---

[1] Каганéц — черепок, в который наливают сало и кладут светильню.

Мотря зевнула, прошептала молитву, и вскоре опять в избушке настала тишина, прерываемая лишь шумом леса да тревожным бормотанием деда:

— Лес шумит, лес шумит... Оксано, голу́бонько...

Вскоре ударил тяжелый ливень, покрывая шумом дождевых потоков и порывания ветра, и стоны соснового бора...

1886



НА ЗАТМЕНИИ

Очерк с натуры

I

Продолжительный пароходный свисток. Я просыпаюсь. За тонкою стенкой парохода вода, кинутая колесом на обратном ходу, плещет, стучит и рокочет. Свисток стонет сквозь этот шум будто издалека, жалобно, протяжно и грустно.

Да, я еду смотреть затмение в Юрьевец. Пароход должен был прийти туда в два с половиной часа ночи. Я только недавно заснул, и теперь уж надо вставать.

Приходится ждать несколько часов где-нибудь на пустой улице, так как в Юрьевце гостиниц нет.

Какова-то погода? Я гляжу из окна. Пароход уже остановился; волна, разбегаясь от бортов, чуть поблескивает и теряется в темноте. Дальний берег слабо виден во мгле, небо покрыто тучами, в окно веет сыростью,— предвестники не особенно благоприятные для наблюдений...

Кое-кто из пассажиров подымается. Лица сонные и не совсем довольные. Между тем снаружи слышно движение, кинуты чалки на пристань. «Готово!» — кричит чей-то сиплый, будто отсыревший и недовольный голос.

Пока я собираюсь, один из пассажиров, по виду мелкий волжский торговец, успел уже сбегать на пристань и вернуться на пароход. Он едет до Рыбинска.

— Ну, что там? — спрашивает у него товарищ, лежащий на скамье, в бархатном жилете и косоворотке. Оба они не особенно верят в затмение.

— Кто его знает,— отвечает спрошенный,— дождик не дождик, так что-то. А на берегу, слышь, башня видна, и на башне остроум стоит.

— Ну?

— Ей-богу! Поди хоть сам посмотри.

Уж несколько дней в народе ходят толки о затмении и о том, что в Нижний съехались астрономы, которых серая публика зовет то «остроумами», то «астроломами». Слова эти часто слышны теперь на Волге и звучат частью иронически («Иностранные остроумы! Больше бога знают...»), частью даже враждебно, как будто поднятая ими суета и непонятные приготовления сами по себе могут накликать грозное явление. Вчера с вечера брошюра «О солнечном затмении 7 августа 1887 года» мелькала среди простой публики. В ней объяснялось, что такое затмение и почему удобно наблюдать его, между прочим, из Юрьевца. Но большинство пассажиров третьего, а также значительная часть второго класса относились к ней сдержанно и даже с оттенком холодной вражды.

Люди же «старой веры» избегали брать ее в руки и предостерегали других.

Я выхожу. Пристань стоит довольно далеко от берега. С нее кинуты жидкие мостки, и ее качает ветром, причем мостки жалобно скрипят, визжат и стонут. Наш пароход

уйдет дальше, между тем небольшая комната на пристани полна. Сонные, усталые и как будто чем-то огорченные пассажиры все прибывают. Снаружи, вместе с ветром, в лицо веет отсырью и по временам моросит. Пробирает озноб.

Городишко, растянувшийся под горой по правому берегу, мерцает кое-где то белою стеной, то слабым огоньком, то силуэтом высокой колокольни, поднимающейся в мглистом воздухе ночи. Гора рисуется неопределенным образом на облачном небе, покрывая весь пейзаж угрюмою массою тени. На реке, у такой же пристани, как наша, молчаливо стоит «Самолет», который привез сюда экстренным рейсом «ученых» из Нижнего, а за рекой, на луговой стороне, догорает пожарище: с вечера загорелся лесной склад, и теперь огонь, как бы насытившись и уставши за ночь, вьется низко над землей, то застилаясь дымом, то опять вставая острыми гребнями пламени. Дремота, ночь, плеск реки, стон пристаней и мостков в предутренней темноте, отсвет пожара и ожидание необычайного события — все это настраивает воображение, и взгляд мой невольно ищет башни с стоящим на ней «остроумом», хотя, впрочем, я отлично понимаю, что это нелепость, тем более что фигура на башне решительно не могла бы быть видима в такой темноте. Однако, проходя по палубе, загроможденной рабочими, я слышал те же разговоры; многие вглядывались и видели: стоит на башне и чего-то караулит среди ночных туманов.

Вглядевшись, в свою очередь, я различаю высокий контур, врезавшийся в небо. Сильно подозреваю, что это труба завода, что и оказывается справедливым. Мои собеседники вспоминают, что действительно в этом месте стоит всем хорошо знакомый завод. Легенда падает.

Оказывается, что пароход еще постоит за темнотой; обрадованная и озябшая публика кидается опять в каюты. Открывают буфет, заспанные лакеи бегают с чайниками и подносами. На палубе идет тихий говор, кое-где читают молитвы и обсуждают признаки пришествия антихриста... Один из этих признаков имеет чисто местный характер. Какой-то старик рассказывает слушателям, что в Юрьевец приехал немец-остроум и склоняет на свою сторону народ. Гришка с завода продался уже за двадцать пять рублей...

— Да ведь это его в караульщики наняли, к трубам,— объясняет кто-то из темноты.

— В караульщики!.. А крест да пояс зачем приказал снять? Как это поймешь?

Это действительно понять трудно. Среди собеседников водворяется молчание.

Через некоторое время я взглянул в окно каюты: небо белеет, на нем проступают мглистые очертания туч, ползущих от севера к югу.

II

Часу в четвертом мы сошли на берег и направились к городу. Серело, тучи не расходились. У пристаней грузными темными пятнами стояли пароходы. На них не заметно было никакого движения. Только наш начинал «шуровать», выпускал клубы дыма и тяжело сопел, лениво собираясь в ранний путь.

Берег был еще пуст. Ночные сторожа одни смотрели на кучку неведомых людей, проходивших вдоль береговых улиц... Смотрели они молчаливо, но с каким-то угрюмым вниманием. Они поставлены «для порядку», а тут и в природе готовится беспорядок, и неведомые люди невесть зачем спозаранку пробираются в мирный и ни в чем не повинный город.

— Дозвольте спросить,— обратился один из стражей к кучке молодых господ, проходивших впереди меня,— нешто, к примеру, в других городах этой планиды не будет? На нас одних господь посылает?

Господа засмеялись и пошли дальше. Сторож постоял, посмотрел нам вслед долго, внимательно, раздумчиво и вдруг застучал трещоткой. Ему отозвались другие, потом залаяли собаки. «Начальство дозволяет, не пустить этих полунощников нельзя, а все-таки... поберегайся!» — вероятно, это именно хотел сказать юрьевчанин своею трещоткой, со времен Алексея Михайловича, а может быть, еще и ранее предупреждавшею чутко спящий городок о лихой невзгоде, частенько-таки налетавшей по ночам с матушки Волги.

И городок просыпается. Я нарочно свернул в переулок, чтобы пройти по окраине. Кое-где в лачугах у подножия горы виднелись огоньки. В одном месте слабо сияла лампадка, и какая-то фигура то припадала к полу, то опять подымалась, очевидно встречая день знамения господня молитвой. В двух-трех печах виднелось уже пламя.

Вот скрипнула одна калитка; из нее вышел древний старик с большою седой бородой, прислушался к благовесту, посмотрел на меня, когда я проходил мимо, суровым, внимательным взглядом и, повернувшись лицом к востоку, где еще не всходило солнце, стал усердно креститься.

Открылась еще калитка. Маленькая старушка торопливо выбежала из нее, шарахнулась от меня в сторону и скрылась под темною линией забора.

— А, Семеныч! Ты, что ли, это? — вскоре услышал я ее придавленный голос.— Правда ли, нынче будто к ранней обедне пораньше ударят? Сказывали, до *этого* чтоб отслужить... Батюшки-светы! Глянь-ко, Семеныч, это кто по горе экую рань ходит?

Часть пароходной публики, вероятно, от скуки взобралась на гору. Фигуры рисуются на светлеющем небе резко и странно. Одна, вероятно стоящая много ближе других на каком-нибудь выступе, кажется неестественно громадною. Все это в ранний час этого утра, перед затмением, над испуганным городом производит какое-то резкое, волшебное, небывалое впечатление...

— Носит их, супостатов! — угрюмо ворчит старик.— Приезжие, надо быть...

— И то, сказывали вчерась: на четырех пароходах иностранные народы приедут. К чему это, родимый, как понимать?

— Власть господня,— угрюмо говорит Семеныч и, не простившись, уходит к себе. Старуха остается одна на пустой улице.

— Господи-и-и, батюшко! — слышу я жалостный, испуганный старческий голос, и торопливые шаги стихают где-то в тени по направлению к церкви. Мне становится искренно жаль и эту старушку, и Семеныча, и весь этот напуганный люд. Шутка ли, ждать через час кончину мира! Сколько призрачных страхов носится еще в этих сумеречных туманах, так густо нависших над нашею святою Русью!..

В окне хибарки, только что оставленной старушкой, мерцал огонек зажженной ею лампадки, и петух хрипло в первый раз прокричал свое кукареку, чуть слышно из-за стенки.

На святой Руси петухи кричат,
Скоро будет день на святой Руси...—

неизвестно откуда всплыло в моей памяти прелестное двустишие давно забытого стихотворения, от которого так и дышит утром и рассветом... «Ох, скоро ль будет день на святой Руси,— подумал я невольно,— тот день, когда рассеются призраки, недоверие, вражда и взаимные недоразумения между теми, кто смотрит в трубы и исследует небо, и теми, кто только припадает к земле, а в исследовании видит оскорбление грозного бога?»

III

А вот и укрепленный лагерь «остроумов».

На небольшом возвышении у берега Волги, по соседству с заводом, которого высокая труба казалась нам ранее башней, на скорую руку построены небольшие балаганчики, обнесенные низкою дощатою оградой. В ограде, на выровненной и утрамбованной площадке стоит медная труба на штативе, вероятно секстант, установленный по меридиану. Из-под навеса нацелились в небо телескопы разного вида и разных размеров. Все это еще закрыто кожаными чехлами и имеет вид артиллерии в утро перед боем. А вот и войско. Укрывшись шинелями, спят несколько городовых и крестьян-караульных, «согнанных» из деревень. Какой-то бородатый высокий мужик важно расхаживает по площадке. Это — главный караульщик, приставленный от завода, тот самый Гришка, который за двадцать пять рублей согласился снять с себя не только крест, но и пояс, и таким образом приобщился к тайнам «остроумов». В настоящую минуту, когда я подхожу к этому месту, он активно проявляет свою роль. Какой-то предприимчивый парень, прикинувшись спавшим за оградой, подполз к самой большой трубе, и Гришка поймал его под нею. Хотел ли он взглянуть в закрытую чехлом трубу, чтобы подглядеть какую-нибудь неведомую тайну, или у него были другие, менее безобидные намерения, но только Гришка горячился и покушался схватить его за ухо.

— Дяденька, да ведь я ничего.

— То-то ничего! Вот экой же дуролом намедни все трубы свертел, полдня после наставляли... Нешто можно касаться? Она, труба-те, не зря ставится.

Гришка, видимо, апеллирует к публике, сомкнувшейся около ограды и, быть может, простоявшей здесь с самого вечера. Но публика не на его стороне.

— Где уж зря! — вздыхает кто-то.

— Не надо бы и ставить-то...

— Жили, слава те господи, без труб. Живы были.

Какой-то серый старичишко выделяется из проходившей на фабрику кучки рабочих и подходит к самой ограде.

— Здравствуй, Гриш!

— Здравствуй.

— Караулишь?

— Караулю.

— Та-а-ак.

— Мне что-ка не караулить,— вдруг обижается Гриша,— ежели я хозяином приставлен.

— Нешто это дело хозяйско?

— Меня ежели приставили, я должен сполнять...

— Двадцать пять рублев, сказывают, дали... Не дешевенько ли, смотри! Охо-хо-хо-о...

— Ну, хоть поменьше дадут, и на этом спасибо. Да ты што?.. Что тебе? Небось, самого к бочке приставили, два года караулил.

— Бочка... Вишь, к чему прировнял,— подхватывает кто-то в публике.

— Бочка много проще. Бочка, брат, дело руськое,— язвит старик.— А это, вишь ты, штука мудреная, к бочке ее не прировняешь. Охо-хо-хо-о.

Разговор становится более общим и более оживленным. Замечания вылетают из толпы, точно осы, все чаще, короче, язвительнее и крепче, приобретая постепенно такую выразительность, что это привлекает бдительное внимание двух полицейских.

— Осади, осади, отдай назад! — вмешиваются они, принимая, по долгу службы, сторону Гриши, и стеной оттесняют зевак. Толпа «отдает назад» и останавливается как-то пассивно в том месте, где ее оставляют полицейские. Ее настроение неопределенно. Фабричный — человек тертый. Он сомневается, недоумевает, отчасти опасается, но свои опасения выражает только колкою насмешкой; ребятам и подросткам просто любопытно, а может быть, они уже кое-что слышали в школе. Настоящий же страх и прямое нерасположение к «ученым» и «иностранным народам» заключались в стенах этих избушек, по окраинам, где робко мерцают всю ночь лампадки...

Говорили, что накануне собирались было кое-кто разметать инструменты и прогнать «остроумов», почему начальство и приняло свои меры.

IV

Светает все более. На востоке стоят почти неподвижно густые дальние облака, залегшие над горизонтом. Повыше плывут темные, но уже не такие тяжелые тучи, а под ними, клубясь и быстро скользя по направлению к югу, несутся невысоко над землей отдельные клочки утреннего тумана. Эти три слоя облаков то сгущаются, заволакивая небо, то разрежаются, обещая кое-где просветы.

Вот образовалась яркая щель, точно в стене темного сарая на рассвете; несколько лучей столбами прорвались в нее, передвинулись радиусами и потухли. Но свет от них остался. Река еще более побелела, противоположный берег приблизился, и огонь пожара, лениво догоравшего на той стороне Волги, стал меркнуть: очевидно, за дальнею тучей всходило солнце.

Я пошел вдоль волжского берега.

Небольшие домишки, огороды, переулки, кончавшиеся на береговых песках,— все это выступает яснее в белесой утренней мгле. И всюду заметно робкое движение, чувствуется тревожная ночь, проведенная без сна. То скрипнет дверь, то тихо отворится калитка, то сгорбленная фигура плетется от дома к дому по огородам. В одном месте, на углу, прижавшись к забору, стоят две женщины. Одна смотрит на восток слезящимися глазами и что-то тихо причитает. Дряхлый старик, опираясь на палку, ковыляет из переулка и молча присоединяется к этой группе. Все взгляды обращены туда, где за меланхолическою тучей предполагается солнце.

— Ну, что, тетушка,— обращаюсь я к плачущей,— затмения ждете?

— Ох, не говори, родимый!.. Что и будет! Напуганы мы, милый, то есть до того напуганы... Ноченьку всё не спали.

— Чем же напуганы?

— Да все планидой этой.

Она поворачивает ко мне лицо, разбухшее от бессонницы и искаженное страхом. Воспаленные глаза смотрят с оттенком какой-то надежды на чужого человека, спокойно относящегося к грозному явлению.

— Сказывали вот тоже: солнце с другой стороны под-

нимется, земли будет трясение, люди не станут узнавать друг дружку... А там и миру скончание...

Она глядит то на меня, то на древнего старца, молчаливо стоящего рядом, опираясь на посох. Он смотрит из-под насупленных бровей глубоко сидящими угрюмыми глазами, и я сильно подозреваю, что это именно он почерпнул эти мрачные пророчества в какой-нибудь древней книге, в изъеденном молью кожаном переплете. Половина пророчества не оправдалась: солнце поднимается в обычном месте. Старец молчит, и по его лицу трудно разобрать, доволен ли он, как и прочие бесхитростные люди, или, быть может, он предпочел бы, чтобы солнце сошло с предначертанного пути и мир пошатнулся, лишь бы авторитет кожаного переплета остался незыблем. Все время он стоял молча и затем молча же удалился, не поделившись более ни с кем своею дряхлою думой.

— Полноте,— успокаиваю я напуганных до истерики женщин,— только и будет, что солнце затмится.

— А потом... Что же, опять покажется, или уж... вовсе?..

— Конечно, опять покажется.

— И я думаю так, что пустяки говорят все,— замечает другая, побойчее.— Планета, планета, а что же такое? Все от бога. Бог захочет — и без планеты погибнем, а не захочет — и с планетой живы останемся.

— Пожалуй, и пустое все, а страшно,— слезливо говорит опять первая.— Вот и солнышко в своем месте взошло, как и всегда, а все-таки же... Господи-и... Сердешное ты наше-её... На зорьке на самой невесело подымалось, а теперь, гляди, играет, роди-и-мое...

Действительно, из-за тучи опять слабо, точно улыбка больного, брызнуло несколько золотых лучей, осветило какие-то туманные формы в облаках и погасло. Женщины умиленно смотрят туда, с выражением какой-то особенной жалости к солнцу, точно к близкому существу, которому грозит опасность. А невдалеке трубы и колеса стоят в ожидании, точно приготовления к опасной операции...

V

Я углубляюсь в улицы, соседние с площадью.

На перилах деревянного моста сидит бородатый и лохматый мещанин в красной рубахе, задумчивый и хладно-

кровный. Перед ним старец вроде того, которого я видел на берегу, с острыми глазами, сверкающими из-под совиных бровей какою-то своею, особенною, злобною думой. Он трясет бородой и говорит что-то сидящему на перилах великану, жестикулирует и волнуется... Так как в это утро сразу как будто разрушились все условные перегородки, отделяющие в обычное время знакомых от незнакомых, то я просто подхожу к беседующим, здороваюсь и перехожу к злобе дня.

— Скоро начнется...

— Начнется? — вспыхивает старик, точно его ужалило, и седая борода трясется сильнее.— Чему начинаться-то? Еще, может, ничего и не будет.

— Ну, уж будет-то — будет наверное.

— Та-ак!.. А дозвольте спросить,— говорит он уже с плохо сдерживаемым гневом,— нешто можно вам власть господню узнать? Кому это господь-батюшка откроет? Или уж так надо думать, что господь с вами о своем деле совет держал?..

— Велико дело господне!..— как-то «вообще», грудным басом, произносит великан, глядя в сторону.— Было, положим, в пятьдесят первом году. Я мальчишком был малыем, а помню. Так будто затемнало, даже петухи стали кричать, испужалась всякая тварь. Ну, только что, действительно, тогда никто вперед не упреждал. Оно и того... оно и опять отъявилось. А теперь, вишь ты... Конечно, что... затеи все.

— Д-да! — отчеканивает старец решительно и зло.— Власть господнюю не узнать вам, это уж вы оставьте!.. Дуракам говорите, пожалуйста! «Затмение, планета!» Так вот по-вашему и будет...

Он смотрит на берег, где устроены балаганы, искоса и сердито. Однако, когда я направляюсь туда, оба они следуют за мною, хотя и небрежно, очевидно только со злою целью: посмотреть на глупых людей, которые верят пустякам... А может быть, при случае... Впрочем, команда полицейских поднялась уже вся, человек десять. Они отряхнулись от сырости, откашливаются и оправляются, смыкаясь около батареи неведомых инструментов, покрытых холодною росой.

— Осади! Отдай назад! Осади! — произносят они дружно; голоса их, еще отсыревшие и несколько хриплые, звучат тем не менее очень внушительно.

VI

К балаганам подходят еще солдаты. Они уставляют ружья в козлы и располагаются у входа за ограду. Другая полурота марширует с барабанным боем и останавливается на берегу.

— Солдаты пришли,— шепчут в толпе, которая теперь лепится по бокам холмика, заглядывая за ограду. Мальчишки шныряют в разных направлениях с беспечными, но заинтересованными лицами. Какой-то общительный немолодой господин раздает желающим стеклышки, смазанные желатином (увы! оказавшиеся негодными). В училище, служащем временным приютом для приезжих ученых, открывается окно верхнего этажа, и в нем появляется длинная трубка, нацелившаяся на небо... «Астроломы» проходят один за другим к балагану. Старик немец несет инструменты, с угрюмым и недовольным видом поглядывая на облака. Он ни разу не взглянул на толпу... Он приехал издалека нарочно для этого утра, и вот бестолковый русский туман грозит отнять у него ученую жатву. Профессор недовольно ворчит, пока его умные глаза пытливо пробегают по небу.

Впрочем, облака редеют, ветер все гонит их с севера: нижние слои по-прежнему почти неподвижно лежат на горизонте, но второй слой двигается теперь быстрее, расширяя все более и более просветы. Кое-где уже синеет лазурь. Клочки ночного тумана проносятся реже и, видимо, тают. Солнце ныряет, то появляясь в вышине, то прячась.

Трубы установлены, с балаганов сняты брезенты, ученые пробуют аппараты. Лица их проясняются вместе с небом. Холодная уверенность этих приготовлений, видимо, импонирует толпе.

— Гляди-ко, батюшки, сама вертится!..— раздается вдруг удивленный голос.

Действительно, большая черная труба с часовым механизмом, пущенным в ход, начинает заметно поворачиваться на своих странных ногах, точно невиданное животное из металла, пробужденное от долгого сна. Ее останавливают после пробы, направляют на солнце и опять пускают в ход. Теперь она автоматически идет по кругу, тихо, внимательно, зорко следя за солнцем в его обычном мглистом пути. Клапаны сами открываются и закрываются, зияя матово-черными краями. Немец опять говорит что-то

быстро, ворчливо и непонятно, будто читает лекцию или произносит заклинания.

Толпа удивленно стихает.

VII

Минутная тишина. Вдруг раздается звонкий удар маятника метронома, отбивающего секунды.

Часы бьют. Должно, шесть часов.

— Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать,— нет, не часы... Что такое?!.

— Началось!..— догадывается кто-то в толпе, видя, что астрономы припали к трубам.

— Вот-те и началось, ничего нету,— небрежно и уверенно произносит вдруг в задних рядах голос старого скептика, которого я видел на мосту.

Я вынимаю свое стекло с самодельною ручкой. Оно производит некоторую ироническую сенсацию, так как бумагу, которой оно обклеено, я прилепил к ручке сургучом.

— Вот так машина! — говорит кто-то из моих соседей.— За семью печатями...

Я оглядываю свой инструмент. Действительно, печатей оказывается ровно семь — цифра в некотором роде мистическая. Однако некогда заниматься каббалистическими соображениями, тем более, что моя «машина» служит отлично. Среди быстро пробегающих озаренных облаков я вижу ясно очерченный солнечный круг. С правой стороны, сверху, он будто обрезан чуть заметно.

Минута молчания.

— Ущербилось! — внятно раздается голос из толпы.

— Не толкуй пустого! — резко обрывает старец.

Я нарочно подхожу к нему и предлагаю посмотреть в мое стекло. Он отворачивается с отвращением.

— Стар я, стар в ваши стекла глядеть. Я его, родимое, и так вижу, и глазами. Вон оно в своем виде.

Но вдруг по лицу его пробегает точно судорога, не то испуг, не то глубокое огорчение.

— Господи Иисусе Христе, царица небесная...

Солнце тонет на минуту в широком мглистом пятне и показывается из облака уже значительно ущербленным. Теперь уже это видно простым глазом, чему помогает тонкий пар, который все еще курится в воздухе, смягчая ослепительный блеск.

Тишина. Кое-где слышно неровное, тяжелое дыхание,

на фоне напряженного молчания метроном отбивает секунды металлическим звоном, да немец продолжает говорить что-то непонятное, и его голос звучит как-то чуждо и странно. Я оглядываюсь. Старый скептик шагает прочь быстрыми шагами с низко опущенною головой.

VIII

Проходит полчаса. День сияет почти все так же, облака закрывают и открывают солнце, теперь плывущее в вышине в виде серпа. Какой-то мужичок «из Пучежа» въезжает на площадь, торопливо поворачивает к забору и начинает выпрягать лошадь, как будто его внезапно застигла ночь и он собрался на ночлег. Подвязав лошадь к возу, он растерянно смотрит на холм с инструментами, на толпу людей с побледневшими лицами, потом находит глазами церковь и начинает креститься механически, сохраняя в лице все то же испуганно-вопросительное выражение.

Между тем мальчишки и подростки, разочаровавшись в желатинных стеклах, убегают домой и оттуда возвращаются с самодельными, наскоро закопченными стеклами, которых теперь появляется много. Среди молодежи царят беспечное оживление и любопытство. Старики вздыхают, старухи как-то истерически ахают, а кто даже вскрикивает и стонет, точно от сильной боли.

День начинает заметно бледнеть. Лица людей принимают странный оттенок, тени человеческих фигур лежат на земле бледные, неясные. Пароход, идущий вниз, проплывает каким-то призраком. Его очертания стали легче, потеряли определенность красок. Количество света видимо убывает; но так как нет сгущенных теней вечера, нет игры отраженного на низших слоях атмосферы света, то эти сумерки кажутся необычны и странны. Пейзаж будто расплывается в чем-то; трава теряет зелень, горы как бы лишаются своей тяжелой плотности.

Однако, пока остается тонкий серповидный ободок солнца, все еще царит впечатление сильно побледневшего дня, и мне казалось, что рассказы о темноте во время затмений преувеличены. «Неужели,— думалось мне,— эта остающаяся еще ничтожная искорка солнца, горящая, как последняя, забытая свечка в огромном мире, так много значит?.. Неужели, когда она потухнет, вдруг должна наступить ночь?»

Но вот эта искра исчезла. Она как-то порывисто, будто

вырвавшись с усилием из-за темной заслонки, сверкнула еще золотым брызгом и погасла. И вместе с этим пролилась на землю густая тьма. Я уловил мгновение, когда среди сумрака набежала полная тень. Она появилась на юге и точно громадное покрывало быстро пролетела по горам, по реке, по полям, обмахнув все небесное пространство, укутала нас и в одно мгновение сомкнулась на севере. Я стоял теперь внизу, на береговой отмели, и оглянулся на толпу. В ней царило гробовое молчание. Даже немец смолк, и только метроном отбивал металлические удары. Фигуры людей сливались в одну темную массу, а огни пожарища на той стороне опять приобрели прежнюю яркость...

Но это не была обыкновенная ночь. Было настолько светло, что глаз невольно искал серебристого лунного сияния, пронизывающего насквозь синюю тьму обычной ночи. Но нигде не было сияния, не было синевы. Казалось, тонкий, не различимый для глаза, пепел рассыпался сверху над землей, или будто тончайшая и густая сетка повисла в воздухе. А там, где-то по бокам, в верхних слоях чувствуется озаренная воздушная даль, которая сквозит в нашу тьму, смывая тени, лишая темноту ее формы и густоты. И над всею смущенною природой чудною панорамой бегут тучи, а среди них происходит захватывающая борьба... Круглое, темное, враждебное тело, точно паук, впилось в яркое солнце, и они несутся вместе в заоблачной вышине. Какое-то сияние, льющееся изменчивыми переливами из-за темного щита, придает зрелищу движение и жизнь, а облака еще усиливают эту иллюзию своим тревожным, бесшумным бегом.

— Владычица святая, господи-батюшко, помилуй нас, грешных!

И какая-то старушка набегает на меня, торопливо спускаясь с холма.

— Куда ты, тетка?

— Домой, родимый, домой: помирать, видно, всем, помирать, с детками с малыми...

Вдоль берега, в сумраке, надвигается к нам какое-то темное пятно, из которого слышен смешанный, все усиливающийся голос. Это кучка фабричных. Впереди, размахивая руками, шагает угрюмый атлет рабочий, который сидел со мной на мосту. Я иду к ним по отмели навстречу.

— Нет, как он мог узнать, вот что! — останавливается

он вдруг прямо против меня, по-видимому узнавая во мне недавнего собеседника.— Говорили тогда ребята: раскидать надо ихние трубы... Вишь, нацелились в бога!.. От этого всей нашей стране может гибель произойти. Шутка ли: господь знамение посылает, а они в небо трубами... А как он, батюшко, прогневается да вдруг сюда, в это самое место, полыхнет молоньей?..

— Да ведь это сейчас пройдет,— говорю я.

— Пройдет, говоришь? Должны мы живы остаться? — Он спрашивает, как человек, потерявший план действий и тяготеющий ко всякому решительно высказываемому убеждению.

— Конечно, пройдет, и даже очень скоро.

— А как?

Я смотрю на часы.

— Да, должно быть, менее минуты еще.

— Меньше минуты? И это узнали! Ах ты, господи-боже!..

Прошло не более пятнадцати секунд. Все мы стояли вместе, подняв глаза кверху, туда, где все еще продолжалась молчаливая борьба света и тьмы, как вдруг вверху, с правой стороны, вспыхнула искорка, и сразу лица моих собеседников осветились. Так же внезапно, как прежде, он набежал на нас, мрак убегает теперь к северу. Темное покрывало взметнулось гигантским взмахом в беспредельных пространствах, пробежало по волнистым очертаниям облаков и исчезло. Свет струится теперь, после темноты, еще ярче и веселее прежнего, разливаясь победным сиянием. Теперь земля оделась опять в те же бледные тени и странные цвета, но они производят другое впечатление: то было угасание и смерть, а теперь наступало возрождение...

IX

Солнце, солнце!.. Я не подозревал, что и на меня его новое появление произведет такое сильное, такое облегчающее, такое отрадное впечатление, близкое к благоговению, к преклонению, к молитве... Что это было: отзвук старого, залегающего в далеких глубинах каждого человеческого сердца преклонения перед источником света, или, проще, я почувствовал в эту минуту, что этот первый проблеск прогнал прочь густо столпившиеся призраки предрассудка, предубеждения, вражду этой толпы?.. Мель-

кнул свет — и мы стали опять братьями... Да, не знаю, что это было, но только и мой вздох присоединился к общему облегченному вздоху толпы... Мрачный великан стоял с поднятым кверху лицом, на котором разливалось отражение рождавшегося света. Он улыбался.

— Ах ты, б-боже мой!..— повторил он уже с другим, благодушным выражением.— И до чего только, братцы, народ дошел. Н-ну!..

Конец страхам, конец озлоблению. В толпе говор и шум.

— Должны мы господа благодарить... Дозволил нам живым остаться, батюшка!..

— А еще хотели остроумов бить. То-то вот глупость...

— А разве правда, что хотели бить? — спрашиваю я, чувствуя, что теперь можно уже свободно говорить это, без прежней напряженной неловкости.

— Да ведь это что: от пития это, от винного. Пьяненький мужичок первый и взбунтовался... Ну, да ведь ничего не вышло, слава те господи!

— А у нас, братцы, мужики и без остроумов знали, что будет затмение,— выступает внезапно мужичок из-за Пучежа.— Ей-богу... Потому старики учили: ежели, говорят, месяц по зорям ходит,— непременно к затмению... Ну, только в какой день — этого не знали... Это, нечего хвастать, было нам неизвестно.

— А они, видишь, как рассчитали. В аккурат! Как ихний маятник ударил, тут и началось...

— Премудрость...

— Затем и разум даден человеку...

— Вишь, и опять взыграло... Гляди, как разгорается.

— Содвигается тьма-то!

— Теперь сползет небось!

— Содвинется на сторону — и шабаш.

— И опять радуется всякая тварь...

— Слава Христу, опять живы мы...

— А что, господа, дозвольте спросить у вас...— благодушно подходит в это время кто-то к самой ограде. Но ближайший из наблюдателей нетерпеливо машет рукой: он смотрит и считает секунды.

— Не мешай! — останавливают из толпы.— Чего лезешь,— не видишь, что ли? Еще ведь не вовсе кончилось.

— Отдай, отдай назад! Осади! — вполголоса, но уже без всякой внушительности, произносят городовые. Солдаты, ружья к ноге, носы кверху, с наивною неподвиж-

ностью тоже следят за солнцем. Гриша, торжествующий, смешался с толпой и имеет такой вид, как будто готов принимать поздравления с благополучным окончанием важного дела. Астрономическая наука приобрела в его лице ревностного адепта. Окруженный любопытными, от которых еще недавно слышал язвительные насмешки, он теперь объясняет им что-то очень авторитетно:

— Труба... она вещь не простая. Содвинь ее, уж она не действует. Она по звезде теперича ставится. Все одно ружейный прицел.

— Как можно содвинуть, вещь понятная! — ласково и как будто заискивающе поддакивают собеседники.

— Тонкая вещь!

— А не грех это, братцы? — раздается сзади нерешительный вопрос, оставшийся без отклика.

Солнце играет все сильнее; туман все более и более утончается, и уже становится трудно глядеть невооруженным глазом на увеличивающийся серп солнца. Чирикают примолкшие было птицы, луговая зелень на заречной стороне проступает все ярче, облака расцвечиваются... В настроении толпы недоверие, вражда и страхи умчались куда-то далеко вместе с пеленой полной тени, улетевшей в беспредельное пространство...

Я ищу старика скептика. Его нигде нет. Между тем кое-где открываются окна, до тех пор закрытые ставнями или тщательно задернутые занавесками. Давешняя старушка робко отпирает свою закупоренную хибарку, высовывает сначала голову, оглядывается вдоль улицы, потом выходит наружу. К ней подбежала девочка лет двенадцати.

— Бабушка, бабушка, а я вот все видела!

— Ты зачем убежала, греховодница, когда я не приказывала тебе?

Но девочка не слушает и продолжает с веселым возбуждением:

— Все видела, как есть. И никаких страстей не было. По небу стрелы пошли, и потом солнышко, слышь, темнеит, темне-и-ит...

— Ну?

— Ну и все потемнело. Задернулось вот и все одно... чугунным листом. Ей-богу, правда, как вот заслонка-те перед солнцем и стоит. А потом с другой-те стороны вдруг прыснуло и пошло выходить, и пошло тебе выходить, и опять рассветало.

Бабушка ворчит что-то, но старое брюзжание звучит уступчиво и тихо, а детский голос звенит с молодым торжеством.

Мы сидели уже на пароходе, когда последний след затмения соскользнул ни для кого уже незаметно с просиявшего солнечного диска.

В третьем классе в публике живо ходила по рукам брошюра: «О солнечном затмении 7 августа 1887 года»...

1887—1892



РЕКА ИГРАЕТ

Эскизы из дорожного альбома

I

Проснувшись, я долго не мог сообразить, где я.

Надо мной расстилалось голубое небо, по которому тихо плыло и таяло сверкающее облако. Закинув несколько голову, я мог видеть в вышине темную деревянную церковку, наивно глядевшую на меня из-за зеленых деревьев, с высокой кручи. Вправо, в нескольких саженях от меня, стоял какой-то незнакомый шалаш, влево — серый неуклюжий столб с широкою дощатою крышей, с кружкой и с доской, на которой было написано:

**Пожертвуйте проходящии
на колоколо господне.**

А у самых моих ног плескалась река.

Этот-то плеск и разбудил меня от сладкого сна. Давно уже он прорывался к моему сознанию беспокоящим шепотом, точно ласкающий, но вместе беспощадный голос, который подымает на заре для неизбежного трудового дня. А вставать так не хочется...

Я опять закрыл глаза, чтоб отдать себе, не двигаясь, отчет в том, как это я очутился здесь, под открытым небом, на берегу плещущей речки, в соседстве этого шалаша и этого столба с простодушным обращением к проходящим.

Понемногу в уме моем восстановились предшествующие обстоятельства. Предыдущие сутки я провел на Святом озере, у невидимого града Китежа, толкаясь между народом, слушая гнусавое пение нищих слепцов, останавливаясь у импровизированных алтарей под развесистыми деревьями, где беспоповцы, скитники и скитницы разных толков пели свои службы, между тем как в других местах, в густых кучках народа, кипели страстные религиозные споры. Ночь я простоял всю на ногах, сжатый в густой толпе у старой часовни. Мне вспомнились утомленные лица миссионера и двух священников, кучи книг на аналое, огни восковых свечей, при помощи которых спорившие разыскивали нужные тексты в толстых фолиантах, возбужденные лица «раскольников» и «церковных», встречавших многоголосым говором каждое удачное возражение. Вспомнилась старая часовня, с раскрытыми дверями, в которые виднелись желтые огоньки у икон, между тем как по синему небу ясная луна тихо плыла и над часовней, и над темными, спокойно шептавшимися деревьями. На заре я с трудом протолкался из толпы на простор и, усталый, с головой, отяжелевшей от бесплодной схоластики этих споров, с сердцем, сжимавшимся от безотчетной тоски и разочарования,— поплелся полевыми дорогами по направлению к синей полосе приветлужских лесов, вслед за вереницами расходившихся богомольцев. Тяжелые, нерадостные впечатления уносил я от берегов Святого озера, от невидимого, но страстно взыскуемого народом града... Точно в душном склепе, при тусклом свете угасающей лампадки, провел я всю эту бессонную ночь, прислушиваясь, как где-то за стеной кто-

то читает мерным голосом заупокойные молитвы над заснувшей навеки народною мыслью.

Солнце встало уже над лесами и водами Ветлуги, когда я, пройдя около пятнадцати верст лесными тропами, вышел к реке и тотчас же свалился на песок, точно мертвый, от усталости и вынесенных с озера суровых впечатлений.

Вспомнив, что я уже далеко от них, я бодро отряхнулся от остатков дремоты и привстал на своем песчаном ложе.

II

Дружеский шепот реки оказал мне настоящую услугу. Когда, часа три назад, я укладывался на берегу, в ожидании ветлужского парохода, вода была далеко, за старою лодкой, которая лежала на берегу кверху днищем; теперь ее уже взмывало и покачивало приливом. Вся река торопилась куда-то, пенилась по всей своей ширине и приплескивала почти к самым моим ногам. Еще полчаса,— будь мой сон еще несколько крепче,— и я очутился бы в воде, как и эта опрокинутая лодка.

Ветлуга, очевидно, взыграла. Несколько дней назад шли сильные дожди: теперь из лесных дебрей выкатился па́водок, и вот река вздулась, заливая свои веселые зеленые берега. Резвые струи бежали, толкались, кружились, свертывались воронками, развивались опять и опять бежали дальше, отчего по всей реке вперегонку неслись клочья желтовато-белой пены. По берегам зеленый лопух, схваченный водою, тянулся из нее, тревожно размахивая не потонувшими еще верхушками, между тем как в нескольких шагах, на большой глубине, и лопух, и мать-мачеха, и вся зеленая братия стояли уже безропотно и тихо... Молодой ивняк, с зелеными нависшими ветвями, вздрагивал от ударов зыби.

На том берегу весело кудрявились ракиты, молодой дубнячок и ветлы. За ними темные ели рисовались зубчатою чертой; далее высились красивые осокори и величавые сосны. В одном месте, на вырубке, белели клади досок, свежие бревна и срубы, а в нескольких саженях от них торчала из воды верхушка затонувших перевозных мостков... И весь этот мирный пейзаж на моих глазах как будто оживал, переполняясь шорохом, плеском и звоном буйной реки. Плескались шаловливые струи

на стрежне, звенела зыбь, ударяя в борта старой лодки, а шорох стоял по всей реке от лопавшихся то и дело пушистых клочьев пены, или, как ее называют на Ветлуге, речного «цвету».

И казалось мне, что все это когда-то я уже видел, что все это такое родное, близкое, знакомое: река с кудрявыми берегами и простая сельская церковка над кручей, и шалаш, даже приглашение к пожертвованию на «колоколо господне», такими наивными каракулями глядевшее со столба...

Все это было когда-то,
Но только не помню когда...—

невольно вспомнились мне слова поэта.

III

— Гляжу я, братец, вовсе тебя заплескивает река-те. Этто домой ходил. Иду назад, а сам думаю: чай, проходящего-те у меня поня́ла уж Ветлуга. Крепко же спал ты, добрый человек!

Говорит сидящий у шалаша на скамеечке мужик средних лет, и звуки его голоса тоже мне как-то приятно знакомы. Голос басистый, грудной, немного осипший, будто с сильного похмелья, но в нем слышатся ноты такие же непосредственные и наивные, как и эта церковь, и этот столб, и на столбе надпись.

— И чего только делат, гляди-ко-ся, чего только делат Ветлуга-те наша... Ах ты! Беды́ ведь это, право беды́...

Это перевозчик Тюлин. Он сидит у своего шалаша, понурив голову и как-то весь опустившись. Одет он в ситцевой грязной рубахе и синих пестрядиных портах. На босу ногу надеты старые отопки. Лицо моложавое, почти без бороды и усов, с выразительными чертами, на которых очень ясно выделяется особая ветлужская складка, а теперь, кроме того, видна сосредоточенная угрюмость добродушного, но душевно угнетенного человека...

— Унесет у меня лодку-те...— говорит он, не двигаясь и взглядом знатока изучая положение дела.— Беспременно утащит.

— А тебе бы,— говорю я, разминаясь,— вытащить надо.

— Коли не надо. Не миновать, что не вытащить. Вишь, чего делат, вишь, вишь... Н-ну!

Лодка вздрагивает, приподнимается, делает какое-то судорожное движение и опять беспомощно ложится по-прежнему.

— Тю-ю-ю-ли-ин! — доносится с другого берега призывной клич какого-то путника. На вырубке, у съезда к реке, виднеется маленькая-маленькая лошаденка, и маленький мужик, спустившись к самой воде, отчаянно машет руками и вопит тончайшею фистулой:

— Тю-ю-ю-ли-ин!..

Тюлин все с тем же мрачным видом смотрит на вздрагивающую лодку и качает головой.

— Вишь, вишь ты — опять!.. А вечор еще, гли-кося, дальше мостков была вода-те... Погляди, за ночь чего еще наделат. Беды́ озорная речушка! Этто учнет играть и учнет играть, братец ты мой...

— Тю-ю-ю-ли-ин, леш-ша-ай!— звенит и обрывается на том берегу голос путника, но на Тюлина этот призыв не производит ни малейшего впечатления. Точно этот отчаянный вопль — такая же обычная принадлежность реки, как игривые всплески зыби, шелест деревьев и шорох речного «цвету».

— Тебя ведь это зовут! — говорю я Тюлину.

— Зовут,— отвечает он невозмутимо, тем же философски-объективным тоном, каким говорил о лодке и проказах реки.— Иванко, а Иванко! Иванко-о-ó!

Иванко, светловолосый парнишка лет десяти, копает червей под крутояром и так же мало обращает внимания на зов отца, как тот — на вопли мужика с того берега.

В это время по крутой тропинке от церкви спускается баба с ребенком на руках. Ребенок кричит, завернутый с головой в тряпки. Другой — девочка лет пяти — бежит рядом, хватаясь за платье. Лицо у бабы озабоченное и сердитое. Тюлин становится сразу как-то еще угрюмее и серьезнее.

— Баба идет,— говорит он мне, глядя в другую сторону.

— Ну? — говорит баба злобно, подходя вплоть к Тюлину и глядя на него презрительным и сердитым взглядом. Отношения, очевидно, определились уже давно: для меня ясно, что беспечный Тюлин и озабоченная, усталая баба с двумя детьми — две воюющие стороны.

— Чё еще нукаешь? Что тебе, бабе, нужно? — спрашивает Тюлин.

— Чё-инó, спрашиват еще... Лодку давай! Чай, через реку ходу-то нету мне, а то бы не стала с тобой, с путаником, и баять...

— Ну-ну! — с негодованием возражает перевозчик.— Что ты кака́ сильна пришла. Разговариваш...

— А что мне не разговаривать! Залил шары-те... Чего только мир смотрит, пьяницы-те наши, давно бы тебя, нéгодя пьяного, с перевозу шугнуть надо. Давай, слышь, лодку-те!

— Лодку? Эвон парень тебя перемахнет... Иванко, а Иванко, слышь? Иванко-ó!.. А вот я сейчас вицей его, подлеца, вытяну. Слышь, проходящий!..

Тюлин поворачивается ко мне.

— Ну-ко ты мне, проходящий, вицю дай, хар-рошую!

И он, с тяжелым усилием, делает вид, что хочет приподняться. Иванко мгновенно кидается в лодку и хватает весла.

— Две копейки с нее. Девку так!— командует Тюлин лениво и опять обращается ко мне:

— Беда моя: голову всеё разломило.

— Тю-ю-ли-ин! — стонет опять противоположный берег.— Перево-о-óз!..

— Тятька, а тятька! Паром кричат, вить,— говорит Иванко, у которого, очевидно, явилась надежда на освобождение от обязанности везти бабу.

— Слышу. Давно уж зеват,— спокойно констатирует Тюлин.— Сговорись там. Может, еще и не надо ему... Может, еще и не поедет... Отчего бы такое голову ломит? — обращается он опять ко мне тоном самого трогательного доверия.

Угадать причину не трудно: от бедняги Тюлина водкой несет, точно из полуштофа, и даже до меня, на расстоянии двух сажен, то и дело доносятся острые струйки перегару, смешиваясь с запахом реки и береговой зелени.

— Кабы выпил я,— говорит Тюлин в раздумье,— а то не пил.

Голова его опускается еще ниже.

— Давно не пью я... Положим, вчера выпил...

И опять Тюлин погружается в глубокое раздумье.

— Кабы много... Положим, довольно я выпил вчера... Так ведь сегодня не пил!

— Так это у тебя, видно, с похмелья,— пробую я вывести его на настоящую дорогу.

Тюлин смотрит на меня долго, серьезно и чрезвычайно вдумчиво. Догадка, очевидно, показалась ему не лишенною основания.

— Разве-либо от этого. Нонче немного же выпил я.

Пока таким образом Тюлин медленным, мучительным, но зато верным путем подходил к истинной причине своих страданий, мужик на той стороне окончательно лишился голоса.

— Тю-ю-ю...— чуть слышно летело оттуда, из-за шороха речных струек.

— Разве-либо от этого. Это ты, братец, должно быть, верно сказал. Пью я винище это, лакаю, братец, лакаю...

IV

Между тем тщетно вопивший мужик смолкает и, оставив лошадь с телегой на том берегу, переправляется к нам вместе с Иванком, для личных переговоров. К удивлению моему, он самым благодушным образом здоровается с Тюлиным и садится рядом на скамейку. Он значительно старше Тюлина, у него седая борода, голубые, выцветшие, как у Тюлина, глаза, на голове грешневик, а на лице, где-то около губ, ютится та же ветлужская складка.

— Страдаешь? — спрашивает он у перевозчика с улыбкой почти сатирическою.

— Голову, братец, всеё разломило. И от чего бы?

— Винища поменьше пей.

— Разве-либо от этого. Вот и проходящий то же бает.

— А лодку у тея, гляди, унесет.

— Как не унести. Просто-таки и унесет.

Оба смотрят несколько времени, как вздрагивает, точно в агонии, опрокинутая лодка.

— Давай паром, што ли,— ехать надо.

— Да тебе надо ли еще ехать-то? Чай, в Красиху пьянствовать?..

— А ты уж накрасился...

— Выпито. Голову всеё разломило, беды́! А ты, может, лучше не ездий.

— Чудак! Чай, у меня дочка там выдана. Звали к празднику. И баба со мной.

— Ну, баба, так, стало быть, не миновать, ехать видно. Э-эх, шестов нет.

— Как нет? Чё хлопаешь зря? Эвона шесты-те!

— Коротки. Двадцати четвертей надо. Чать, видишь: приплескиват Ветлуга-те.

— А ты что же, чудак, шестов не запас, коли видишь, что приплескиват?.. Иванко, сгоняй за шестами-те, парень!

— Сходил бы сам,— говорит Тюлин,— тяжелы вить.

— Ты сходи,— твое дело!

— Не мне ехать,— тебе!

И оба мужика, да и Иванко третий, спокойно остаются на местах.

— Ну-ко я его, подлеца, вицей вытяну...— опять произносит Тюлин, делая новый опыт примерного вставанья.— Проходящий, да́-ко ты мне вицю...

Иванко с громким гнусавым ревом снимается с места и бежит трусцой на гору, к селу.

— Не донесет,— говорит мужик.

— Тяжелы вить! — подтверждает Тюлин.

— А ты бы добежал хоть встречу-те,— советует мужик, глядя на усилия муравья Иванка, появляющегося на верху угора с длинными шестами.

— И то хотел сказать тебе: добеги-ко-сь.

Оба сидят и глядят.

— Евстигне-е-й! Лешай!..— слышится с той стороны пронзительный и желчный бабий голос.

— Баба кричит,— говорит мужик с некоторым беспокойством.

Тюлин сохраняет равнодушие: баба далеко.

— А как у меня мерин сорвется да мальчонку с бабой ушибет...— говорит Евстигней.

— А резва лошадь-то?

— Беды́.

— Ну, так очень просто может ушибить. Да ты бы, послушай, тово... назад бы. Что тебе ехать-то, кака́ надобность?

— Ах, чудак! Да нешто не видишь: с бабой собрался. Как можно, что не ехать!

Иванко, выбиваясь из сил, приволакивает, наконец, шесты и с ревом кидает их на берег. Все готово. Тюлину приходится приниматься за работу.

— Эй, проходящий! — обращается он ко мне как-то одобрительно.— Ну-ко, послушай, и ты с нами на

паром! А то, видишь вот, больно уж река-те наша резва.

Мы все взошли на скрипучий дощатый паром; Тюлин — последний. По-видимому, он размышлял несколько секунд, поддаваясь соблазну: уж не достаточно ли народу и без него. Однако, все-таки взошел, шлепая по воде, потом с глубокою грустью посмотрел на колья, за которые были зачалены чалки, и сказал с кроткой укоризной, обращенной ко всем вообще:

— Э-эх! Чалки-те, чалки никто и не отвязал. Н-ну!

— Да ведь ты, Тюлин, последний взошел на паром. Тебе бы и надо отвязать,— протестую я.

Он не отвечает, косвенно признавая, быть может, всю справедливость этого замечания, и так же лениво, с тою же беспросветною скорбью, спускается в воду, чтоб отвязать чалки.

Паром заскрипел, закачался и поплыл от берега. Перевозный шалаш, опрокинутая лодка, холмик с церковью мгновенно, будто подхваченные неведомою силой, уносятся от нас, а мысок с зеленою подмытою ивой летит нам навстречу. Тюлин поглядел на мелькающий берег, почесал густую шапку своих волос и перестал пихаться шестом.

— Несет вить.

— Несет,— ответил мужик, с натугой налегая на чегéнь правым плечом.

— Пылко несет.

— Да ты что стал? Что не пхаешься?

— Поди пхнись. С левого-те борту не маячит.

— Ну?

— То-то и ну!

Мужик ожесточенно сунул свой шест и чуть не бултыхнулся в воду,— его чегéнь тоже не достал до дна. Евстигней остановился и сказал выразительно:

— Подлец ты, Тюлин!

— Сам такой! Пошто лаешься?

— За што тебе деньги плочены, подлая фигура?

— Поговори!

— Пошто длинных шестов не завел?

— Заведёны.

— Да што нету их?

— Дома. Нешто мальчонко приволокет... двадцати-то четвертей?

— Говорю: подлой ты человек.

— Ну-ну! Не скажешь ли еще чего? Поговори со мной!

Спокойствие Тюлина, видимо, смиряет возмущенного Евстигнея. Он снимает грешневик и скребет голову.

— Куда ж мы теперича? К Козьме Демьяну (в Козьмо-Демьянск) сплывем, аль уж как?..

V

Действительно, резвое течение, будто шутя и насмехаясь над нашим паромом, уносит неуклюжее сооружение все дальше и дальше. Кругом, обгоняя нас, бегут, лопаются и пузырятся хлопья «цвету». Перед глазами мелькает мысок с подмытою ивой и остается назади. Назади, далеко, осталась вырубка с новенькою избушкой из свежего лесу, с маленькою телегой, которая теперь стала еще меньше, и с бабой, которая стоит на самом берегу, кричит что-то и машет руками.

— Куда ж мы теперича? Эх беды́, право беды́,— безнадежно, глядя на бабу, говорит Евстигней.

Положение действительно довольно критическое. Шест уходит вглубь, не маяча, то есть не доставая дна.

Тюлин, не обращая внимания на причитания Евстигнея, серьезно смотрит на реку. Для него опасность всех больше, потому что придется непременно подымать паром против течения. Он, видимо, подтянулся, его взгляд становится разумнее, тверже.

— Иванко, держи по плёсу! — командует он сыну.

Мальчишка на этот раз быстро исполняет приказ.

— Садись в гре́би, Евстигней!

— Да у тебя еще есть ли гре́би-то? — сомневается тот.

— Поговори со мной!

На этот раз слова Тюлина звучат так твердо, что Евстигней покорно лезет с помоста и прилаживается к веслам, которые оказываются лежащими на дне.

— Проходящий, лезь и ты... в тую ж фигуру.

Я сажусь «в тую ж фигуру», то есть прилаживаюсь к правому веслу так же, как Евстигней у левого. Команда нашего судна, таким образом, готова. Иванко, на лице которого совершенно исчезло выражение несколько гнусавой беспечности, смотрит на отца заискрившимися, внимательными глазами. Тюлин сует шест в воду и ободряет сына: «Держи, Иванко, не зевай мотри». На мое предложение — заменить мальчика у руля — он совершенно не

обращает внимания. Очевидно, они полагаются друг на друга.

Паром начинает как-то вздрагивать... Вдруг шест Тюлина касается дна. Небольшой «огрудок» дает возможность «пихаться» на расстоянии десятка сажен.

— Вались на перевал, Иванко, вали-йсь на перевал! — быстро сдавленным голосом командует Тюлин, ложась плечом на круглую головку шеста.

Иванко, упираясь ногами, тянет руль на себя. Паром делает оборот, но вдруг рулевое весло взмахивает в воздухе, и Иванко падает на дно. Судно «рыскнуло», но через секунду Иванко, со страхом глядя на отца, сидит на месте.

— Крепи́! — командует Тюлин.

Иванко завязывает руль бечевкой, паром окончательно «ложится на перевал», мы налегаем на весла. Тюлин могучим толчком подает паром наперерез течению, и через несколько мгновений мы ясно чувствуем ослабевший напор воды. Паром «ходом» подается кверху.

Глаза Иванка сверкают от восторга. Евстигней смотрит на Тюлина с видимым уважением.

— Эх, парень,— говорит он, мотая головой,— кабы на тебя да не винище — цены бы не было. Винище тебя обманыват...

Но глаза Тюлина опять потухли, и весь он размяк.

— Греби, греби... Загребывай, проходящий, поглубже, не спи! — говорит он лениво, а сам вяло тычет шестом, с расстановкой и с прежним уныло-апатичным видом. По ходу парома мы чувствуем, что теперь его шест мало помогает нашим веслам. Критическая минута, когда Тюлин был на высоте своего признанного перевознического таланта, миновала, и искра в глазах Тюлина угасла вместе с опасностью.

Около двух часов поднимались мы все-таки кверху, а если бы Тюлин не воспользовался последним «огрудком», паро́м унесло бы на узкий прямой плес, и его не достать было оттуда в двое суток. Так как пристать в обычном месте было невозможно,— мостки давно затопило,— то Тюлин пристает к глинистому крутояру, зачаливая за ветлы. Начинается спуск телеги. Мы с Евстигнеем хлопочем около этого дела. Тюлин равнодушно смотрит на наши хлопоты, а баба, давно истратившая на ветер все негодующие слова, сидит, не двигаясь, на возу, точно

окаменелая, и старается не смотреть на нас, как будто все мы опостылели ей до самой последней крайности. Она точно застыла в своем злобном презрении к «нéгодям-мужикам» и даже не дает себе труда сойти с ребенком с телеги.

Лошадь пугается, закидывает уши и пятится назад.

— Ну-ко, ну-ко, хлесни ее, резвую, по заду,— советует Тюлин, несколько оживляясь.

Горячая лошадь подбирает зад и прыгает с берега. Минута треска, стукотни и грохота, как будто все проваливается сквозь землю. Что-то стукнуло, что-то застонало, что-то треснуло, лошадь чуть не сорвалась в реку, изломав тонкую загородку, но, наконец, воз установлен на качающемся и дрожащем пароме.

— Что, цела? — спрашивает Тюлин у Евстигнея, озабоченно рассматривающего телегу.

— Цела! — с радостным изумлением отвечает тот. Баба сидит, как изваяние.

— Ну? — недоумевает и Тюлин.— А думал я: беспременно бы ей надо сломаться.

— И то... вишь, какá крутоярина.

— Чё ино! Сама такá круча, что ей бы сломаться надо... Э-эх, а чалки-те опять никто не отвязал! — кончает Тюлин с тою же унылой укоризной и лениво ступает на берег, чтоб отвязать чалки.— Ну, загребывай, проходящий, загребывай, не спи!

Через полчаса тяжелой работы веслами, криков: «навались», «ложись в перевал» и «крепи»,— мы, наконец, подходим к шалашу. С меня пот льет от непривычки градом.

— Проси с Тюлина косушку,— говорит полушутя Евстигней.

Но Тюлин, видимо, не расположен к шуткам. Долговременное пребывание на берегу безлюдной реки, продолжительные унылые размышления о причинах никогда не прекращающейся тяжелой похмельной хворости — все это, очевидно, располагает к серьезному взгляду на вещи. Поэтому он уставился в меня своими тусклыми глазами, в которых начинает медленно проблескивать что-то вроде глубокого размышления, и сказал радушно:

— Причалим,— поднесу... И не одну, слышь, поднесу,— добавляет он конфиденциально, понижая голос, причем в лице его явственно проступает если не удоволь-

ствие, то во всяком случае мгновенное забвение тяжелых похмельных страданий.

А с горы, по неудобной дороге, уже сползают два воза.

— Едут...— скорбно говорит перевозчик.

— Да еще, может быть, не поедут,— утешаю я,— может быть, у них не важное дело.

Я иронизирую, но Тюлин не понимает иронии, быть может потому, что сам он весь проникнут каким-то особенным бессознательным юмором. Он как будто разделяет его с этими простодушными кудрявыми березами, с этими корявыми ветлами, со взыгравшею рекой, с деревянною церковкой на пригорке, с надписью на столбе, со всею этой наивною ветлужской природой, которая все улыбается мне своею милою, простодушною и как будто давно знакомою улыбкой...

Как бы то ни было, но на мое насмешливое замечание Тюлин отвечает совершенно серьезно:

— Ежели без товару, само собой обождут. Неужто повезу? — голову всеё разломило...

VI

Парохода все нет. Говорят, за час до прихода он будет еще «кричать» где-то, на одной из вышележащих пристаней, но когда, часа через три, пошатавшись по селу и напившись чаю, я подхожу опять к берегу, о пароходе ничего не известно. Река продолжает играть и даже разыгралась совсем не на шутку. Тюлин тащится к своему шалашу по колени в воде, лениво шлепая босыми ногами по зеленой потопшей траве; он весь мокрый, широкие штаны липнут к его ногам, мешая идти; сзади, на чалке, тащится за Тюлиным давешняя старая лодка, которую, согласно предсказанию знатока-перевозчика, унесло-таки течением.

— Что, Тюлин, здоров ли?

— Слава богу. Не крепко чтой-то. Давай на ту сторону поедем.

— Зачем?

— Вишь, склёка вышла. Плоты Ивахински река разметывать хочет.

— Тебе-то что же?.. Разве забота?

— А гляди-ко, Ивахин четвертуху волокет. Да что четвертуха! Тут, брат, и полуведром поступишься...

К берегу торопливою походкой приближался со сто-

роны села мужчина лет сорока пяти, в костюме деревенского торговца, с острыми, беспокойными глазами. Ветер развевал полу его чуйки, в руке сверкала посудина с водкой. Подойдя к нам, он прямо обратился к Тюлину:

— Что, приплескиват?

— Беды́! — ответил Тюлин.— Чай, сам видишь.

— А плотишки у меня поняла́ уж?

— Подхватыват, да еще не под силу. А гляди, подымет. Лодку у меня даве слизнула,— в силу, в силу бегом догнал за перелеском...

— Ну?

— То-то. Вишь, вымок весь до нитки.

— Ах ты!— отчаянно сказал купец, ударив себя по бедру свободною рукой.— Не оглянешься,— плоты у меня размечет. Что убытку-то, что убытку! Ну, и подлец народ у нас живет! — обратился он ко мне.

— Чего бы я напрасно лаял православных,— заступился за своих Тюлин.— Чай, у вас ряда была...

— Была.

— На песок возить?

— То-то на песок.

— Ну-к на песке и есть, не в другом месте.

— Да ведь, подлецы вы этакие, река песок-то уж покрывает!

— Как не покрыть,— покроет. К утру, что есть, следу не оставит.

— Вот видишь! А им бы, подлецам, только песни горланить. Ишь орут! Им горюшка мало, что хозяину убыток...

Оба смолкли. С того берега, с вырубки, от нового домика неслись нестройные песни. Это артель васюхинцев куражилась над мелким лесоторговцем-хозяином. Вчера у них был расчет, причем Ивахин обсчитал их рублей на двадцать. Сегодня Ветлуга заступилась за своих деток и взыграла на руку артели. Теперь хозяин униженно кланялся, а артель не ломила шапок и куражилась.

— Ни за сто рублев! Узнаешь, как жить с артелью! Мы тя научим...

Река прибывала. Ивахин струсил. Кинувшись в село, он наскоро добыл четверть и поклонился артели. Он не ставил при этом никаких условий, не упоминал о плотах, а только кланялся и умолял, чтоб артель не попомни-

ла на нем своей обиды и согласилась испить «даровую».

— Да ты, такой-сякой, не финти,— говорили артельщики.— Не заманишь!

— Ни за сто рублев не полезем в реку.

— Пущай она, матушка, порезвится да поиграет на своей волюшке.

— Пущай покидат бревнушки, пущай поразмечет.. Поди собирай!

Но четверть все-таки выпили и завели песни. Голоса неслись из-за реки нестройные, дикие, разудалые, и к ним примешивался плеск и говор буйной реки.

— Важно поют! — сказал Тюлин с восторгом и завистью.

Ивахину, кажется, песня нравилась меньше. Он слушал беспокойно, и глаза его смотрели растерянно и тоскливо. Песня шумела бурей и, казалось, не обещала ничего хорошего.

— Много ли недодал вчера? — спросил Тюлин просто.

Ивахин почесался и, не отрывая беспокойного взгляда с того места, откуда неслись нестройные звуки, ответил так же просто:

— Об двух красных спорились.

— Много же, мотри! Как бы, слушай, бока не намяли.

По лицу Ивахина было видно, что предложение не кажется ему невероятным.

— Хошь бы плоты-те повыволокли,— сказал он с глубокою тоской.

— Чать, выволокут,— успокоил Тюлин.

— Поговори им,— заискивающе сказал торговец.— Мол, боле не приплескиват, назад, мол, к ночи пойдет.

Тюлин ответил не сразу; взгляд его приковался к посудине, и, помолчав, он сказал сластолюбиво:

— Другую четверть волокешь?

— Другую.

— Споишь и третью. Перевезти, что ль?

— Вези!

Лодка была на середине, когда ее заметили с того берега. Песня сразу грянула еще сильнее, еще нестройнее, отражаясь от зеленой стены крупного леса, к которому вплоть подошла вырубка. Через несколько минут, однако, песня прекратилась, и с вырубки слышался только громкий и такой же нестройный говор. Вскоре Ивахин опять

стрелой летел к нашему берегу и опять устремился с новою посудиной на ту сторону. Лицо у него было злое, но все-таки в глазах проглядывала радость.

К закату солнца вся артель «убилась» за ивахинскими плотами. Под звуки унылой «дубинушки» бревна выкатывали на берег и руками втаскивали на подъемы. Скоро весь ивахинский лес высился в клади на крутояре, недоступный для шаловливой реки.

Потом опять загремела песня. Мокрые, усталые артельщики допивали последнюю четверть. Ивахин, потный, злой, но все-таки еще более довольный, переправился в последний раз на нашу сторону и умчался к селу; ветер размахивал полами его сибирки, а в обеих руках были посудины, на этот раз пустые.

Тюлин, еще более унылый, провожал его долгим взглядом.

— Ну что, побили? — спросил я у него.

Он перевел взгляд на меня и спросил:

— Кого?

— Да Ивахина.

— Не, что его бить...

Я с удивлением посмотрел на Тюлина, и в моем уме блеснула внезапная и неожиданная догадка: физиономия Тюлина припухла, а под глазом стоял фонарь, очевидно, новейшего происхождения.

— Тюлин, голубчик!

— Ну, что?

— Отчего у тебя синяк?

— Синяк... Да отчего ему быть, синяку?

— Да ведь тебя, Тюлин, должно быть, били.

— Кто меня бил?

— Артельщики.

Тюлин задумчиво посмотрел мне прямо в глаза и сказал:

— Разве-либо от этого... Да, слышь, и били-то не очень шибко.

Пауза, взгляд на меня, и во взгляде мелькающая догадка:

— Разве-либо не Парфен ли это меня саданул?..

— Пожалуй, что и Парфен,— опять помогаю я медленному процессу нового приближения к истине.

— Беспременно Парфен: Такой, скажу тебе, вредный мужичишко — завсегда норовит как бы нибудь человека испортить...

Вопрос оказался достаточно разъясненным. Мне, правда, очень хотелось еще разузнать, каким образом гнев артели так неожиданно изменил свое направление, и артельная гроза, вместо Ивахина, обрушилась на совершенно нейтральную тюлинскую физиономию, но в это время с другого берега опять послышался призыв:

— Тю-ю-юли-ин!..

Тюлин не повернул даже головы и лениво направился к шалашу, сказав мне на ходу:

— Кличут. Смахать бы тебе, а? Живым бы духом.

Но вдруг он насторожился, повернулся и ожил. На берегу, несмотря на сумерки, можно было разглядеть красные рубахи. Это артельщики звали Тюлина и, кажется, самым заманчивым образом махали руками.

— Зовут ведь? — радостно сказал он, вопросительно глядя на меня.

— Разумеется, зовут. Опять побьют, пожалуй...

— Не, што ты, бог с тобой. Не может быть! Угостить меня артели желательно, вот што! На мировую, значит...

И Тюлин с удивительною живостью кинулся к берегу. Связав зачем-то две лодки,— нос к корме,— он сел в переднюю и быстро отпихнулся от берега, не оставив на этой стороне ни одной.

VII

Я понял эту невинную хитрость, когда услышал в сумерках скрип воза, съезжавшего с горы. Воз неторопливо подъехал к реке. Лошадь фыркнула несколько раз и, откинув уши, уставилась с удивленным видом на изменившуюся до неузнаваемости смиренницу Ветлугу.

От воза отделился мужик, подошел к самой воде, посмотрел, почесался и обратился ко мне:

— Перевозчик где?

— Вон...— указал я на светлую полоску, взрезавшую темную поверхность реки уже на середине.

Он вгляделся туда, опять помотал головой, прислушался к песням васюхинцев и стал поворачивать воз:

— И подлый же мужичок здешний перевозчик живет,— сказал он, впрочем, довольно спокойно.— Гляди, ведь и лодки все уволок... Всю ночь его теперь оттеда не достанешь.

Отведя лошадь, он подошел ко мне и поклонился.

— Проходящие будете?

— Проходящий.

— Не с озера ли?

— С озера.

— Так. Много теперича народу идет. Завтра, что есть, и то еще пойдут. Эх, как река-то пылит, беды́! Ежели теперь нам с вами на паром... Да нет, не управиться... Ночевать, видно. А вы не к пароходу ли?

— К пароходу.

— Ну, на заре, раньше не будет. Ночевать, видно, и вам.

Он поставил за шалашом телегу и пустил на береговой откос стреноженную лошадь. Через несколько минут за шалашом, закурился дым.

Тюлин, очевидно, приучил свою публику к терпению.

Солнце давно спряталось за горами и лесами, над Ветлугой опустились сумерки, синие, теплые, тихие. Наш огонек разгорался, дым подымался прямо кверху. Было как-то даже странно это спокойствие воздуха, наряду с торопливым и буйным движением на реке, которая все продолжала приплескивать. С того берега все неслись песни, и мне казалось, что я различаю фистулу Тюлина в общей разноголосице. На одном из недальних холмов один за другим вспыхивали огни соседней деревеньки. Днем я не замечал ее,— так ее серые избы и темные крыши сливались с общими тонами пейзажа... Теперь она выступила красивой стайкой огоньков на темной верхушке холма, и кое-где четырехугольники крыш вырезывались в синеве неба.

Это — деревня Соловьиха. Мой новый знакомый, от нечего делать, рассказал мне некоторые небезынтересные черты из жизни ее обитателей. Народ в Соловьихе живет предприимчивый и гордый; в окрестностях соловьихинцы слывут «воришканами». Случилось моему новому знакомому остановиться в селе Благовещении, у дьячка. Дело было зимой, к вечеру. Сидят за столом. Вдруг кто-то стук-стук в оконце. Выглянул дьячок: стоит за окном Иван Семенов, сосед-старичок, и на ночлег просится. «Да что ты, чай тебе до дому всего с версту?» — «С версту, мол, с версту, да мимо Соловьихи идти. Как бы опять к пролуби не свели».

Оказалось, что между этим старичком и соловьихин-

цами установились совершенно своеобразные отношения. Как только старик разживется деньгами, так непременно напьется на селе, а как напьется, так и начнет хвастать: имею у себя «катеньку» в кармане. Пойдет после этого домой, его соловьихинцы и переймут на реке, да прямо к проруби.

— Хошь в пролубь?

Ну, разумеется, не хочет. Они и не неволят — отдай только им «катеньку». Он отдает, делать нечего. Они опять:

— Хошь в пролубь?

— Не желаю, братцы.

— Так никому, гляди, не бай. Не скажешь, что ли?

— Не скажу!

— Заклянись!

— Чтоб мне,— говорит,— на сим месте провалиться, коли скажу единой душе.

И не говорит. Сколько раз этак его ловили,— надоело ему, перестал вечером мимо Соловьихи ходить, особливо когда выпивши, а не сказал никому. «Водили, говорит, к пролуби соловьихинцы», а кто именно — ни за что не скажет.

После этого рассказа я с особым любопытством взглянул на деревеньку «воришканов». Ну, где, думалось мне, кроме Ветлуги, встретите вы такую непосредственность и простоту приемов, и такое благородное доверие к чужому слову, и такую простодушную уверенность в возможности «провалиться на сим месте», в случае нарушения клятвы?.. Мой новый знакомый, сам «ветлугай», уверял, что другой этакой деревни нет нигде больше по всей реке. В Марьине промышляли года три назад «красноярками»[1],— ну, это дело другое. А положите в незапертой избе деньги и уходите на сутки,— никто не тронет.

— Как же все-таки соловьихинцы?

— Такой у них, позвольте сказать, обычай...

Ну, где еще, думалось мне опять, найдется такая терпимость к чужим обычаям?.. И огоньки Соловьихи мигали мне приветливо и простодушно: «нигде, нигде»...

— Вот и у Тюлина,— сказал я, улыбаясь,— тоже обычай.

---

[1] Красноярками называют фальшивые «бумажки».

— Верно! Подлец мужичок, будь он проклят! А и то надо сказать: дело свое знает. Вот пойдет осень или опять весна: тут он себя покажет... Другому бы ни за что в водополь с перевозом не управиться. Для этого случая больше и держим...

— Мир беседе!

— Милости просим!

К нашему огоньку с берестяными кошелками за спиной, с посошками в руках подошли два странника. Один из них, скинув котомку, внимательно поглядел на меня и сказал:

— Этого мы человека видели.

— Не мудрено,— ответил я.

— На Люнде были?

— Был.

— Там и видели. По усердию или обет был даден владычице?

— По усердию. А вы?

— Мы к празднику ходили, стало быть, к сродникам.

— Что ж, садитесь к огоньку.

— Да нам бы на перевоз,— дó дому недалече. К утру и дошел бы я.

— Да, на перевоз!..— вмешался мой знакомый.— Тюлин последнюю ладью уволок. На пароме разве?..

— Где!.. Больно река взыграла.

— Да и шестов длинных нет.

Другой из новоприбывших подошел усталым шагом к берегу, и тотчас же над рекой раздалось громко, протяжно:

— Тю-ю-ли-ин! Лодку дава-а-áй!

Оклик покатился по реке, будто подхваченный быстрым течением. Игривая река, казалось, несет его с собой перекидывая с одной стороны на другую меж заснувшими во мгле берегами. Отголоски убегали куда-то в вечернюю даль и замирали тихо, задумчиво, даже грустно,— так грустно, что, прислушавшись, странник не решился в другой раз потревожить это отдаленное вечернее эхо.

— Шабаш! — сказал он и, махнув рукой, вернулся к нашему огоньку.

— А парню-то и до дому рукой подать,— сказал первый из моих знакомых,— и всего-то версты четыре, из Песошной! Слыхали про песочинцев? — спросил он с лукавою усмешкой.

— Нет, я в здешних местах не бывал.

— У них, у песочинцев, тоже опять свой нрав. Что ни город, то, говорят люди, норов, что ни деревня, то обычай. Соловьихинцы,— я вот рассказывал,— любят так, чтоб чужое взять, а уж песочинцы — те свое беречь мастера. Этто годов, может, пять назад, пошли семеро песочинцев в село Благовещение железо чинить: лемеха там, сошники, серпы и прочее деревенское орудие. Ну, починили, идут назад к реке и сумы с железом в руках несут. А река, как вот и теперь же, приплескивает сильно, играет, да еще ветер по реке ходит, волну раскачал. А лодка-то, известно, верткая. «А что, братцы вы мое,— говорит один,— как лодку у нас ковырнет, ведь железо-то, пожалуй, утопнет. Давай, робяты, кошели к себе привяжем, кабы железо не потопить».— «И то, мол, дело!» Так и сделали. К реке шли — железо в руках несли; в лодку садиться — давай на себя навязывать. Выехали на середину, река лодку-те и начни заливать, лодка и опрокинься. Ну, железо-то крепко к спинам привязано — не потерялось. Так вместе с железом хозяевы ко дну и пошли, все семеро!.. Что, парень, аль не правду я баю?

Песочинец не возражал, и, при свете огонька, на всех трех лицах моих собеседников лежала одна и та же добродушно-насмешливая улыбка, с особенною ветлужскою складкой, живо напоминавшею мне Тюлина.

— Ну, а вы-то откуда? — спросил я у старика, который видел меня на Люнде.

— А я, господин, сам по себе. Без роду-племени, бездомный человек, солдатская кость.

— А все-таки, родом с Ветлуги?

— С нее, матушки. Не одну путину сгонял по ней смолоду. Да и после царской службы вот уж пятнадцатый год околачиваюсь.

Солдатского в этом старике было очень мало: только разве некоторая спокойная уверенность речи, да еще старый, засаленный картуз с какими-то едва заметными кантами и большим надорванным козырем. Из-под козыря глядели и искрились порой серые глаза, а около усов ютилась чуть заметная улыбка. Голос у старого солдата был очень приятный, грудной, с «перекатцем», выдававшим прежнего лихого песельника, но теперь уже значительно осипшим от старости, от речной сырости, а может и от «винища». Как бы то ни было, слушать этот голос с юмори-

стическою ноткой и глядеть на ветлужскую усмешку старого солдата было очень приятно, и я вспомнил теперь, что действительно мы встречались с ним на озере. В разгар самого горячего спора на тему: «с татем, с разбойником, кольми паче с еретиком не общайся»,— когда обе стороны засыпали друг друга текстами и разными тонкостями начетчицкой диалектики,— этот старичок, с надорванным козырем и искрящимися глазами, вынырнув внезапно в самой середине, испортил всю беседу, рассказав очень просто и без всяких текстов простой житейский случай. Рассказ произвел на большинство сильное отрезвляющее впечатление; начетчики отнеслись к нему с явным пренебрежением. Как бы то ни было, беседа была совершенно испорчена, и толпа разошлась, унося, быть может, не одно проснувшееся сомнение...

— Помилуйте, бабий разговор, просторечие,— сказал мне с неудовольствием один из начетчиков.— Нешто это от писания?

— Да это кто такой, не Ефим ли? — спросил другой, подошедший к концу разговора.

— Он.

— Пустой мужичонко, ветлугай. В работниках у нас живал. Писания не знает. Евангелие одно читал...— и говоривший махнул рукой.

Ефим-ветлугай только улыбался своею особенною улыбкой, неизвестно к чему относящеюся: к предмету ли разговора, к слушателям или, быть может, к самому ему, пустому мужичонку, бездомнику, солдатской косточке... Как бы то ни было, мне казалось, что в рассказе ветлугая я слышал первое еще на Светлояре живое слово.

Теперь мы опять завели разговор на ту же тему: о Люнде, о Светлояре и Китеже, об уреневцах. Среди многочисленных и разноверных групп, собирающихся на Светлояре, приносящих туда, каждая, свои книги, свои напевы и свою веру, в особенности выделяются уреневские начетчики, устраивающие каждый год свой импровизированный алтарь под одним и тем же старым дубом, на склоне холма. В то время как около австрийского священника, в полуманатейке и с длинными косами впереди ушей, едва-едва набирается десяток молящихся,— около уреневского дуба стоит тесная большая толпа. Меня поразили суровые, надменные лица этих начетчиков. Тут были женщины в темных скитских платьях, какой-то очень

длинный субъект с резкими чертами, молодой мальчишка с сумой нищего, с лицом, покрытым оспой, и лохматый юродивый... Они читали и пели по очереди, однообразными, гнусавыми голосами, совершенно притом не обращая внимания на все окружающее. Между тем как представители других толков охотно вступали в споры,— уреневцы держались свысока, пренебрежительно и на вопросы совсем не отвечали. Казалось, для них во всем мире не существовало уже ничего заслуживающего хотя бы малейшего снисхождения и вся святость сосредоточивалась на этом небольшом островке, занятом их тесно сомкнутыми «стрижеными гуменцами» и оглашаемом их унылыми напевами.

— Очень уж высоко сами себя держат,— говорил Ефим.— Народ, нечего сказать, просужий, трезвый народ, а только нашему брату у них неловко.

— Почему это?

— Тоскливо. Наша вера, прямо сказать, много веселее,— ответил за Ефима хозяин воза.

Молчавший до сих пор песочинец при этих словах улыбнулся как-то радостно и сказал:

— Бывал ведь я у них. Больно, братцы, чудно́!

— А что?

— Да так. Этто нанялся я у них зимусь к одному: брусу из лесу выволокчи. Приехали мы с молодым хозяином на моей лошаде́ ночью. Наутро проснулся я, а темно еще — дело зимнее. Гляжу: старуха светец засвечает, потом молиться хочет образам. Образа-те хорошие, крашо́ные. Ну, думаю, и мне пора: помолюсь, дай-ка, и я, да лошадь пойду снаряжать. Лезу тихонько с полатей, стал за ей, давай себе креститьця. Как тут она обернись. Увидела меня и руками замахала: «Ты, говорит, что это делаешь?» — «А что, мол,— молитьця было похотел».— «Погоди»,— говорит.— «Чего годить? — самая пора».— «Погоди, мол, после». Ну, после, дак и после, опять я полез на полати. Отмолилась она, свечки погасила, убрала; гляжу опять: малое время погодя, старче с печки лезет, свою икону тащит на божницю, свою и свечку зажигат. Я опять с полатей. Думаю, теперь и мне можно. Только нацелился лоб перекрестить, старичишка меня за руку лап! «Ты што это?» — «На вот!.. да я, мол, было молитьця целился».— «Погоди, говорит, не годится тебе». Вот оказия! Опять, видно на полати лезть. Ну, чего будет!.. Тут опять молодица слезат, с молодым хозяином в боковушке свечку

затеплили. У тех икон нету — одно распятьё. Я живым духом к ним, опять себе нацеливаюсь. Давай, думаю, хоть на распятьё помолюсь.

— Ну, до́пустили, что ль? — спросил один из заинтересованных слушателей, видя, что рассказчик остановился.

— Не! Што вы думаете? — и тут не допустили! Отмолились сами, потом зовут: теперь, говорят, иди, молись себе. Взошел я в боковушку, а там голые стены. Они и распятьё-то уволокли... Ах ты, шут вас задави! Что мне тут с вами грешить, думаю себе. Не надо! Я лучше, коли так, дорогой поеду, на солнушко господне помолюсь.

— Три веры в одным дому! — заметил солдат.

— Три и есть. Обедать время пришло. Ну, посадили меня, доброго молодця, честь-честью. Опять старики с дочкой вместе, нам с молодым хозяином на особицю, да еще, слышь, обоим чашки-те разные. Тут уж мне за беду стало. «Ах вы, говорю, такие не эдакие. Вы не то што меня бракуете, вы и своего-то мужика бракуете».— «А потому,— старуха бает,— и бракуем, што он по Русе ходит, с вашим братом, со всяким поганым народом нахлебается...» Вот и поди ты, как они об нас понимают!

— Д-да,— подтвердил хозяин воза, лежавший уже с руками, заложенными за голову.— Видишь ты, каке́ грозны живут... А сами-те, бесстыдники! Теперече у нас, поблизу, в деревне два брата; один, стало быть, в солдаты ушел, другой его бабу к себе взял. Это невестку-то, стало быть, да еще чижолую. Другой со службы вернулся, тоже долго не думал: родну-те сестру прежней жены к себе. Да слышь: два брата на двух сестрах женаты, да мальчонке-то солдат и дядей родным, да чуть ли и тятькой не приходится. Так вот этим не брезгуют. Охо-хо-хо́... Не спать ли пора?

Водворилось ненадолго молчание.

— Смешиця по Русе́ пошла,— раздался через минуту простодушный голос песочинца.

— Давно уж это,— сказал, укладываясь, солдат,— не со вчерашнего дни.

— Чё не давно? Вот теперича молока́на опять...

— Ну, эти иная статья, другого рода. Спи-ложись, пустого не бай!

Но песочинец, объятый размышлением о «смешице», которая пошла «по святой Русе», долго еще не мог улечь-

ся. Он сидел, ковырял веткой в огне и, увидя, что я тоже не сплю, кивнул лукаво в сторону Ефима и произнес:

— Особа статья, говорит... Чего не особа статья! Сам с ними водитця, богам нашим молитьця не стал, молоко по пятницам жрет. Сам видывал, а то бы и баять не надо...

И он тоже стал прилаживаться на песочке.

VIII

Я поднялся и посмотрел кругом.

Река скрылась в темной синеве вечера. Луна еще не подымалась, звезды тихо, задумчиво мигали над Ветлугой. Берега стояли во мгле, неясные, таинственные, как будто прислушиваясь к немолчному шороху все прибывающей реки. Поверхность ее была темна, не видно было даже «цвету», только кой-где мерцали, растягивались и тотчас исчезали на бегущих струях дрожащие отражения звезд, да порой игривая волна вскакивала на берег и бежала к нам, сверкая в темноте пеной, точно животное, которое резвится, пробегая мимо человека...

Артель все еще бушевала на другом берегу, но песня, видимо, угасала, как наш костер, в который никто не подбрасывал больше хворосту. Голосов становилось все меньше и меньше: очевидно, не одна уж удалая головушка полегла на вырубке и в кустарнике. Порой какой-нибудь дикий голосина выносился удалее и громче, но ему не удавалось уже воспламенить остальных, и песня гасла.

Я тоже улегся рядом со спящими ветлугаями, любуясь звездным небом, начинавшим загораться золотыми отблесками подымавшейся за холмами луны. А с горы, тихо поскрипывая, спускался опять запоздалый воз, подходили пешеходы и, постояв на берегу или безнадежно выкрикнув раза два лодку, безропотно присоединялись к нашему табору, задержанному военною хитростью перевозчика Тюлина.

Огни в деревушке на холме давно погасли один за другим. Столб с надписью то выделялся, окрашенный огнем костра, то утопал в темноте.

На той стороне, за рекой, запевал соловей.

. . . .

— Перево-óз!
— Перевоз, перевоз, перрево-ó-оз!
— Эй, перевоз-чик, живей — э-эй!
— Го-го-го-го-о-о!..

Громкие крики, раздавшиеся шумно, внезапно, резко и звонко, точно труба на заре, разбудили меня и весь наш табор, приютившийся у огонька. Крики наполняли, казалось, землю и небо, отдаваясь в мирно спавших лощинах и заводях Ветлуги. Ночные странники просыпались и протирали глаза; песочинец, которого вчера так сконфузил его собственный скромный оклик заснувшей реки, теперь глядел с каким-то испугом и спрашивал:

— Что такое? С нами крестная сила, что такое?

Начинало светать, река туманилась, наш костер потух. В сумерках по берегу виднелись странные группы каких-то людей. Одни стояли вокруг нас, другие у самой воды кричали перевозчика. Невдалеке стояла телега, запряженная круглою сытою лошадью, спокойно ждавшею перевоза.

Я тотчас же узнал уреневцев... Тут были и третьеводнишние скитницы в темных одеждах, и длинный субъект с мрачным лицом, и рябой нищий, и лохматый «юрод», и еще какие-то личности в том же роде.

Теперь они стояли вокруг нашего, лежавшего вповалку, табора, глядя на нас с бесцеремонным любопытством и явным пренебрежением. Мои спутники как-то сконфуженно пожимались и, в свою очередь, глядели на новоприбывших не без робости. Мне почему-то вдруг вспомнились английские пуритане и индепенденты времен Кромвеля. Вероятно, эти святые так же надменно смотрели на простодушных грешников своей страны, а те отвечали им такими же сконфуженными и безответными взглядами.

— Эй, вы, ветлугаи-водохлёбы! Где перевозчик?
— Перевоз, перевоз, перре-во-óз!..

Можно было подумать, что целая армия вторглась в мирные владения беспечного перевозчика. Голоса уреневцев гремели и раскатывались над рекой, которая теперь, казалось, быстро и сконфуженно убегала от погрома, вся опять желтовато-белая от «цвету». Эхо долго и далеко перекатывало эти крики.

«Ну-ка,— думалось мне,— устоит ли и теперь тюлинский стоицизм?»

К моему удивлению, взглянув на реку, я увидел в утренней мгле лодочку Тюлина уже на середине. Очевидно, философ-перевозчик тоже находился под обаянием грозных уреневских богатырей и теперь греб изо всех сил. Когда он пристал к берегу, то на лице его виднелась сугубая угнетенность и похмельная скорбь; это не помешало ему, однако, быстро побежать на гору за длинными шестами.

Наш табор тоже зашевелился. Хозяева ночевавших возов вели за челки лошадей и торопливо запрягали, боясь, очевидно, что уреневцы не станут дожидаться, и они опять останутся на жертву тюлинского самовластия.

Через полчаса нагруженный паром отвалил от берега.

У потухшего костра мы остались вдвоем с Ефимом, который разгребал пальцами золу, чтобы закурить угольком носогрейку.

— А вы что же не переправились заодно?

— Ну их, не люблю,— ответил он, раскуривая.— Мне не к спеху,— пойду себе по росе... А вот вам так, пожалуй, пора собираться: слышите, пароход сверху бежит.

Через минуту и я мог уже различить гулкие удары пароходных колес, а через четверть часа над мысом появился белый флаг, и «Николай» плавно выбежал на плёсо, мигая бледнеющими на рассвете огнями и ведя зачаленную сбоку большую баржу.

Солдат услужливо подал меня в тюлинской лодочке на борт парохода, и тотчас же сам вынырнул в ней из-за кормы, направляясь к тому берегу, где грузный паром высаживал уреневцев.

Солнце давно золотило верхушки приветлужских лесов, а я, бессонный, сидел на верхней палубе и любовался все новыми и новыми уголками, которые с каждым поворотом щедро открывала красавица река, еще окутанная кое-где синеватою мглой.

И я думал: отчего же это так тяжело было мне там, на озере, среди книжных народных разговоров, среди «умственных» мужиков и начетчиков, и так легко, так свободно на этой тихой реке, с этим стихийным, безалаберным, распущенным и вечно страждущим от похмельного недуга перевозчиком Тюлиным? Откуда это чувство тяготы и разочарования, с одной стороны, и облегчения — с другой?

Отчего на меня, тоже книжного человека, от *тех* веет таким холодом и отчужденностью, а этот кажется таким близким и так хорошо знакомым, как будто в самом деле

Все это уж было когда-то,
Но только не помню когда...

Милый Тюлин, милая, веселая, шаловливая взыгравшая Ветлуга! Где же это и когда я видел вас раньше?

1891



ОГОНЬКИ

Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди, под темными горами мелькнул огонек.

Мелькнул ярко, сильно, совсем близко...

— Ну, слава богу! — сказал я с радостью,— близко ночлег!

Гребец повернулся, посмотрел через плечо на огонь и опять апатично налег на весла.

— Далече!

1/27 Заказ 167

Я не поверил: огонек так и стоял, выступая вперед из неопределенной тьмы. Но гребец был прав: оказалось, действительно, далеко.

Свойство этих ночных огней — приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своею близостью. Кажется, вот-вот еще два-три удара веслом,— и путь кончен... А между тем — далеко!..

И долго еще мы плыли по темной, как чернила, реке. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь назади и теряясь, казалось, в бесконечной дали, а огонек все стоял впереди, переливаясь и маня,— все так же близко, и все так же далеко...

Мне часто вспоминается теперь и эта темная река, затененная скалистыми горами, и этот живой огонек. Много огней и раньше и после манили не одного меня своею близостью. Но жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла...

Но все-таки... все-таки впереди — огни!..

1900

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧУДНАЯ

Впервые в России напечатано — «Русское богатство», 1905, кн. 9, с. 222—234, под заглавием «Командировка».

Очерк был написан в 1880 г. в камере вышневолоцкой пересыльной тюрьмы, где Короленко находился в ожидании отправки в Сибирь. Рукопись была тайно передана на волю и 25 лет распространялась нелегально в списках. (В 1893 г. «Чудная» была опубликована в Лондоне в издании «Фонда вольной русской прессы».)

Уже будучи в ссылке в Якутской области, Короленко получил письмо, в котором ему сообщили, что «Чудную» высоко оценил Г. И. Успенский и читал ее в кружках молодежи. «Это внимание любимого писателя к неизвестному и затерянному в ссылке молодому человеку и та заботливость, с которой он старался переслать свой привет через разные посредствующие инстанции,— меня глубоко тронули и залегли в моей душе чувством особой благодарности не только к писателю, но и к человеку»,— писал впоследствии Короленко (К о р о л е н к о В. Г. Собр. соч. в 10-ти т.,

т. 8. М., 1955, с. 16). «Я по нескольку раз снимал с полки в своей юрте это письмо и перечитывал эти строки» (Там же, т. 10, с. 96).

В образе Морозовой отразились черты политической ссыльной двадцатилетней петербургской студентки Эвелины Людвиговны Улановской, которую писатель встретил в Березовских Починках. Ей посвятил он целую главу в своей автобиографической книге «История моего современника» (кн. III, ч. 1, гл. 8).

Стр. 23 *Закуржавело* — покрылось инеем.

Стр. 24 *Позобать* — поклевать.

Стр. 25 *Сдаточный* — сданный в рекруты солдат-новобранец.

Стр. 36 *Сектантка* — здесь: человек узких взглядов.

Стр. 37 *Боярыня Морозова* — Федосия Прокофьевна Морозова — известная русская раскольница XVII века, не принявшая «новую веру», внедрявшуюся в царствование Алексея Михайловича. Была сослана по указу царя и умерла в остроге в 1672 г.

СОН МАКАРА

Впервые напечатано — «Русская мысль», 1885, кн. 3, с. 6—32.

Написан рассказ в 1883 г. в ссылке, в слободе Амга Якутской области. Прототипом его героя был крестьянин Захар Цыкунов, у которого жил писатель. В «Истории моего современника» писатель вспоминал о Захаре: «Это был пашенный, женатый на якутке. У них была маленькая дочка. Жилье их состояло из юрты и русской избы с плоской крышей. Сами они жили в юрте с хоттоном (отдел для хлева), а русскую избу с прямыми стенами и широкими окнами сдавали мне. Отношения Захара с женой-якуткой были очень оригинальные. Они никогда не дрались, но порой ругались при помощи... песен. Начинала всегда жена. У нее было много поводов для огорчения: Захару нередко случалось выпивать так, что она узнавала об этом только после того, как буланка привозил хозяина от татар совершенно пьяным. Если порой он привозил бутылку татарской водки и угощал ее, она сначала была весела и приветлива, но потом вспоминала прежние обиды и начинала выпевать все его прегрешения... Захар пытался возражать ей все так же нараспев, но вскоре принужден бывал сдаться» (Короленко В. Г. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. 7, с. 315). Живший с Короленко в ссылке О. В. Аптекман писал в своих воспоминаниях о Захаре: «Он объякутившийся русский переселенец, грязный, грубый, вороватый, пришибленный. Он привязывается к Влад. Га-

лакт., ходит к нему, выкладывает перед ним все печали своей скорбной, беспросветной, трудовой жизни...» (В. Г. Короленко в воспоминаниях современников. М., 1962, с. 59).

Стр. 41 *Торбаса́* — сапоги из оленьего меха.

Стр. 42 *Алас* — лесная лужайка.

Стр. 47 *Сполохи* — северное сияние.

Стр. 50 *Косач* — тетерев-самец.

Стр. 51 *Руга* — содержание, выплачиваемое попу прихожанами.
Треба — богослужебный обряд (крестины, отпевание и пр.).

Стр. 54 *По третьей траве* — то есть по третьему году.

Стр. 62 *Трапезник* — церковный сторож.

Стр. 64 *Крин сельный* — лилия полевая.

В ДУРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Впервые напечатано — «Русская мысль», 1885, кн. 10, с. 159—216. Рассказ начат в годы пребывания в сибирской ссылке (1881—1884) и был окончен в 1885 г. в Петербурге. В основу его положены воспоминания писателя о детстве и жизни в городе Ровно (в рассказе город назван Княжье-Вено). «Этот небольшой городок описан совершенно точно в рассказе «В дурном обществе»,— писал Короленко в 1894 г. В образе неподкупного судьи писатель воспроизвел некоторые черты своего отца.

В 1886 г. в детском журнале «Родина» появилась сокращенная переделка рассказа под названием «Дети подземелья», которая впоследствии много раз переиздавалась и предназначалась для школьных библиотек. Однако сам Короленко решительно протестовал против подобных переработок. «В дурном обществе»... идет в десятках тысяч экземпляров дешевых изданий в сокращенном и обкромсанном виде. А я совершенно не понимаю, почему юношество должно сначала знакомиться с писателем в этом обкромсанном виде, а уж потом получать его в полном»,— писал он с возмущением писателю С. Я. Елпатьевскому 12 мая 1916 г. (Короленко В. Г. Избр. письма в 3-х т., т. 3. М., 1936, с. 242).

Стр. 68 *Гешефт* — выгодная сделка.

Стр. 69 *Гайдуки* — повстанцы, здесь: воины.
Аргамак — азиатская лошадь.
Амазонка — женское платье для верховой езды.

Стр. 70 *Шталмейстер* — начальник конюшен.

Стр. 70. *Униатская* — объединенная православно-католическая (от слова «уния» — объединение православной церкви с католической под властью папы римского).

Кунтуш — старинный верхний кафтан у поляков и украинцев.

Шляхта — мелкопоместное польское дворянство.

Стр. 71 *«Официалисты»* — то есть служители, чиновники.

Владетельная хартия — документ, подтверждающий права.

Чамарка — мужская верхняя одежда.

Стр. 72 *Костел* — польский католический храм.

Стр. 73 *Бард* — певец, воспевающий военные подвиги.

Стр. 74 *«Факторы»* — посредники, комиссионеры.

Респектабельно — достойно, почтенно.

Стр. 75 *Фризовая* — от слова «фриз» — ткань типа байки.

Стр. 76. *Элоквенция* — красноречие.

Штык-юнкер — офицерский чин в артиллерии (в XVIII в.).

Тамерлан (Тимур) (1336—1405) — среднеазиатский полководец и завоеватель, известный своей жестокостью.

Съезжая — полицейский участок.

Бутарь — полицейский низший чин.

Стр. 77 *Экстраординарные* — необычные.

Стр. 79 *Прерогатива* — привилегия, исключительное право.

Стр. 81 *Дифирамб* — торжественная неумеренная похвала.

Стр. 82 *Филантропия* — благотворительность.

Стр. 83 *Кармелюк* (1784—1835) — вождь крестьянских восстаний на Украине.

Гаерство — паясничанье.

Цицерон Марк Тулий (106—43 гг. до н. э.) — римский оратор, писатель и политический деятель. *Ксенофонт* (ок. 430—355 гг. до н. э.) — греческий философ и историк. *Катилина* Луций Сергий (108—62 гг. до н. э.) — римский политический деятель. *Цезарь* Гай Юлий (100—44 гг. до н. э.) — римский оратор, писатель, полководец и политический деятель.

Стр. 84. *Митридат* Эвпатор (132—63 гг. до н. э.) — понтийский царь.

Скандовка — отчетливое чтение стихов (с выделением ударяемых слогов).

Стр. 84. *Виргилий* Публий Марон (70—19 гг. до н. э.) — римский поэт.

Гомер — легендарный поэт Древней Греции, автор «Илиады» и «Одиссеи».

Иезуиты — монахи, члены воинствующего католического духовного ордена.

Стр. 85 *«Закруты»* — стебли стоящих на корню хлебов, завязанные в узлы. По старинному поверью, они приносят несчастье тем, кто их сорвет.

Ливий Тит (59 г. до н. э.— 17 г. н. э.) — римский историк.

Стр. 86 *Лото́ки* — лопасти мельничного водяного колеса.

Стр. 92 *Паникадило* — церковный светильник.

Стр. 98 *Каплица* (пол.) — часовня.

Стр. 100 *Раввин* — руководитель религиозно-нравственной еврейской общины.

Стр. 110 *Капеллан* — помощник католического священника при домашней церкви.

Ксендз — католический священник в Польше.

Стр. 112 *Дилетант* — человек, занимающийся наукой или искусством без специальной подготовки.

Стр. 115 *Соломон* (ок. 950—933 гг. до н. э.) — еврейский царь, прославившийся своей мудростью.

«ЛЕС ШУМИТ»

Впервые напечатано — «Русская мысль», 1886, кн. 1, с. 260—281.

В «Истории моего современника» Короленко вспоминает эпизод своего раннего детства, когда попавшего в лес мальчика «положительно заворожил протяжный шум лесных верхушек». «Я... слушал то тихий свист, то звон, то смутный говор и вздохи леса, сливавшиеся в протяжную, глубокую, нескончаемую и осмысленную гармонию, в которой улавливались одновременно и общий гул, и отдельные голоса живых гигантов, и колыхания, и тихие поскрипывания красных стволов... Все это как бы проникало в меня захватывающей могучей волной».

В рассказе шум дремучего бора сопровождает повествование о седой старине — времени, когда казаки не прощали своих обид панам.

Стр. 128 *Громада* — сельский сход.

Стр. 130 *Канчуки* — плети.

Доезжачий — псарь.

Стр. 133 *Рушница* — ружье.

Стр. 136 *«Летка»* — ружейная картечь.

Стр. 137 *«Крепаки»* — крепостные.

НА ЗАТМЕНИИ

Впервые напечатано — «Русские ведомости», 1887, № 244. В 1892 г. рассказ был значительно переработан.

«Очерк с натуры», как назвал его писатель, описывает солнечное затмение, которое Короленко наблюдал в августе 1887 г. в городе Юрьевце Костромской губернии.

А. М. Горький рассказывает о своей беседе с Короленко: «...он сам начал рассказывать о своих беседах с мужиками Лукоянова, сектантами Керженца, великолепно, с тонким, цепким юмором подчеркивая в речах собеседников забавное сочетание невежества и хитрости, ловко отмечая здравый смысл мужика и его осторожное недоверие к чужому человеку. Я иногда думаю, что нигде в мире нет такой разнообразной духовной жизни, как у нас на Руси...» (Горький А. М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 15, с. 35).

Стр. 150 *Секстант* — инструмент для астрономических наблюдений.

Стр. 155 *Метроном* — прибор для точных научных измерений, состоящий из часового механизма с передвигающимся грузом на маятнике.

Стр. 156 *Каббалистический* — таинственный.

Стр. 160 *Адепт* — сторонник, приверженец.

РЕКА ИГРАЕТ

Впервые напечатано в сб. «Помощь голодающим» (изд. газ. «Русские ведомости»), 1892, с. 1—25.

Рассказ навеян дорожными впечатлениями во время путешествия Короленко по реке Ветлуге и встречей с перевозчиком Тюлиным. Писатель В. В. Вересаев в своих воспоминаниях о Короленко пишет, что в рассказе сохранена подлинная фамилия перевозчика, о котором Короленко говорил: «Не мог придумать никакой другой подходящей фамилии. Закроешь глаза,— так и слышишь, как по реке издалека несется: «Тю-у-у-у-ли-и-ин!» (В. Г. Короленко в воспоминаниях современников, с. 317).

На Ветлуге рассказ быстро стал известен, и пароходы останавливались у описанного перевоза, чтобы пассажиры могли посмотреть на Тюлина.

Стр. 163 *Невидимый град Китеж* — по преданию, город Китеж исчез под водой озера Светлояр в момент, когда к нему подошел Батый, чтобы захватить князя суздальского, укрывавшегося в городе.

Стр. 165 *Все это было когда-то//Но только не помню когда* — строки из стихотворения А. К. Толстого «По гребле неровной и тряской».

Стр. 167 *Баять* — говорить.

Вица — хворостина, прут.

Стр. 170 *Чегень* — шест, употребляемый на плотах для упора на мелях.

Стр. 171 *Огрудок* — бугор на дне реки.

Стр. 179 «Катенька» — кредитный билет достоинством в 100 рублей, на котором была изображена Екатерина II.

Стр. 182 *Начетчики* — старообрядческие богословы, отличавшиеся хорошим знанием старопечатных книг.

Стр. 183 *Полумантайка (полуманатейка)* — монашеская одежда.

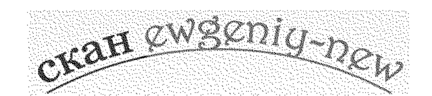
Стр. 187 *Кромвель* Оливер (1599—1658) — один из вождей английской буржуазной революции XVII в., руководитель партии *индепендентов* (независимых),— наиболее радикального течения пуритан, представлявших интересы торгово-промышленной буржуазии.

ОГОНЬКИ

Впервые напечатано в сб. «Помощь евреям, пострадавшим от неурожая». Спб., 1901, с. 1.

Написано 4 мая 1900 г. экспромтом в альбом писательницы М. В. Ватсон.

СОДЕРЖАНИЕ



Короленко В. Г.

К68 Сон Макара: Рассказы/ Сост., вступ. ст., примеч. М. А. Соколовой; Худож. В. И. Якубич.— М.: Сов. Россия, 1985.— 208 с., ил., 1 л. портр.— (Школьная б-ка).

Рассказы замечательного русского писателя, публициста и общественного деятеля В. Г. Короленко.

Р1

К $\frac{4803010101\text{-}328}{\text{М-105(03)85}}$ 217—85

Для детей старшего школьного возраста

Владимир Галактионович Короленко

СОН МАКАРА

Редактор *М. Долотцева*
Художественный редактор *И. Рыбченко*
Технические редакторы *И. Капитонова, Р. Каликштейн*
Корректор *А. Лазуткина*

ИБ № 3780
Сдано в набор 17.04.84. Подп. в печать 09.10.84. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага типографская № 2. Печать высокая. Гарнитура школьная. Усл. п. л. 10,92. Усл. кр.-отт. 11,13. Уч.-изд. л. 11,12. Тираж 200 000 экз. (2-ой завод — 50 001—200 000 экз.). Заказ № 167. Цена 55 к. Изд. инд. ЛД-540.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Вышла в свет книга:

Некрасов. Н. А. **Стихотворения и поэмы.** (Серия «Школьная библиотека»).

В книгу вошли избранные стихотворения Н. А. Некрасова и три его поэмы: «Мороз, Красный нос» (1863), «Дедушка» (1870), «Русские женщины» (1871—1872).

Для детей старшего школьного возраста.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Вышла в свет книга:

Поэзия периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. (Серия «Школьная библиотека»).

В этот сборник вошли стихотворения поэтов нескольких поколений, ибо с первых дней войны вся советская поэзия вступила на солдатскую дорогу. От Демьяна Бедного до самых юных, от тех, которые уже обрели славу, до тех, которых она еще ждала. Все они стали воинами, проявили себя как истинные патриоты социалистической Отчизны.

Для детей старшего школьного возраста.

55 к.



...Мне часто вспоминается теперь и эта темная река, затененная скалистыми горами, и этот живой огонек. Много огней и раньше и после манили не одного меня своею близостью. Но жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла...

Но все-таки впереди — огни!..

Короленко В. Г. «Огоньки»



СОВЕТСКАЯ РОССИЯ